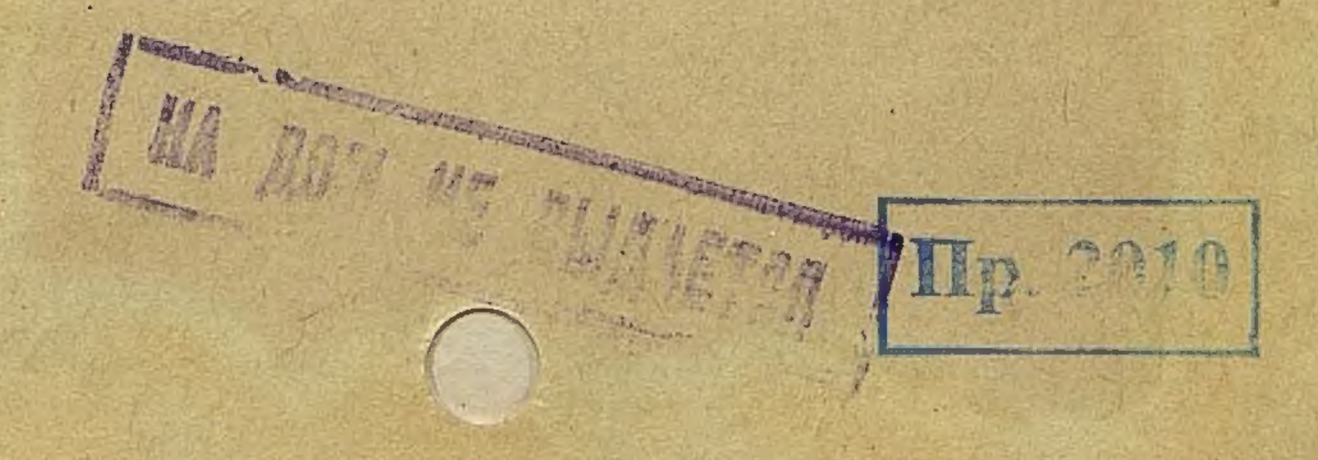
БОРИС ПАСТЕРНАК

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ

ПАСТЕРНАК—ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ


НА ДОМ НЕ ВЫДАЕТСЯ
Пр. 2010


НА ДОМ НЕ ВЫДАЕТСЯ

БОРИС ПАСТЕРНАК

ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1933



Третья фабрика книги ОГИЗа РСФСР Треста «Полиграф книга» «Красный пролетарий» Москва, Краснопролетарская, 16.

☆

Детство Люверс

Повесть

Долгие дни

I

Люверс родилась и выросла в Перми. Как когда-то ее кораблики и куклы, так впоследствии ее воспоминания тонули в мохнатых медвежьих шкурах, которых много было в доме. Отец ее вел дела Луньевских копей и имел широкую клиентуру среди заводчиков с Чусовой.

Дареные шкуры были черно-бурые и пышные. Белая медведица в ее детской была похожа на огромную осыпавшуюся хризантему. Это была шкура, заведенная для „Женечкиной комнаты“—облюбованная, сторгованная в магазине и присланная с посыльным.

По летам живали на том берегу Камы на даче. Женю в те годы спать укладывали рано. Она не могла видеть огней Мотовилихи. Но однажды ангорская кошка, чем-то испуганная, резко шевельнулась во сне и разбудила Женю. Тогда она увидала взрослых на балконе. Нависавшая над брусьями ольха была густа и переливчата, как чернила. Чай в стаканах был красен. Манжеты и карты—желты, сукно—зелено. Это было похоже на бред, но у этого бреда было свое название, известное и Жене: шла игра.

Зато нипочем нельзя было определить того, что творилось на том берегу, далеко-далеко: у того не было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и волнующееся, оно было милым и родным, и не было бредом, как то, что бормотало и ворочалось в клубах табачного дыма, бросая све-

жие ветреные тени на рыжие бревна галлереи. Женя расплакалась. Отец вошел и объяснил ей. Англичанка повернулась к стене. Объяснение отца было коротко:

— Это — Мотовилиха. Стыдно! Такая большая девочка... Спи!

Девочка ничего не поняла и удовлетворенно сглотнула катившуюся слезу. Только это ведь и требовалось: узнать, как зовут непонятное—Мотовилиха. В эту ночь это объяснило еще все, потому что в эту ночь имя имело еще полное, по-детски успокоительное значение.

Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое—Мотовилиха и что там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха—завод, казенный завод, и что делают там чугун, а из чугуна... Но это ее не занимало уже, а интересовало ее, не страны ли особые то, что называют „заводы", и кто там живет; но этих вопросов она не задала и их почему-то умышленно скрыла.

В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью. Она в первый раз за свои годы заподозрила явление в чем-то таком, что явление либо оставляет про себя, либо если и открывает кому, то тем только людям, которые умеют кричать и наказывать, курят и запирают двери на задвижку. Она впервые, как и эта новая Мотовилиха, сказала не все, что подумала, и самое существенное, нужное и беспокойное скрыла про себя.

Шли годы. К отъездам отца дети привыкли с самого рождения настолько, что в их глазах превратилось в особую отрасль отцовства редко обедать и никогда не ужинать. Но все чаще и чаще игралось и вздорилось, пилось и елось в совершенно пустых, торжественно безлюдных комнатах, и холодные поучения англичанки не могли заменить присутствия матери, наполнявшей дом сладкой тягостностью запальчивости и упорства, как каким-то родным электричеством. Сквозь гардины струился тихий северный день. Он не улыбался. Дубовый буфет казался седым. Тяжело и сурово грудилось серебро. Над скатертью двигались лавандой умытые руки англичанки, она никого не обделяла и обладала неистощимым запасом терпенья; а чувство справедливости было свойственно ей в той высокой степени, в какой всегда чиста была и

опрятна ее комната и ее книги. Горничная, подав кушанье, застаивалась в столовой и в кухню уходила только за следующим блюдом. Было удобно и хорошо, но страшно печально.

А так как для девочки это были годы подозрительности и одиночества, чувства греховности и того, что хочется обозначить по-французски „христианизмом", за невозможностью назвать все это христианством, то иногда казалось ей, что лучше и не может и не должно быть по ее испорченности и нераскаянности; что это поделом. А между тем,—но это до сознания детей никогда не доходило,—между тем, как раз наоборот, все их существо содрогалось и бродило, сбитое совершенно с толку отношением родителей к ним, когда те бывали дома; когда они не то чтобы возвращались домой, но возвращались в дом.

Редкие шутки отца вообще выходили неудачно и бывали не всегда кстати. Он это чувствовал и чувствовал, что дети это понимают. Налет какой-то печальной сконфуженности никогда не сходил с его лица. Когда он приходил в раздражение, то становился решительно чужим человеком, чужим начисто и в тот самый миг, в который он утрачивал самообладанье. Чужой не трогает. Дети никогда не дерзословили ему в ответ.

Но с некоторого времени критика, шедшая из детской и безмолвно стоявшая в глазах детей, заставала его нечувствительным. Он не замечал ее. Ничем не уязвимый, какой-то неузнаваемый и жалкий, э т о т отец был—страшен, в противоположность отцу раздраженному,—чужому. Он трогал больше девочку, сына—меньше.

Но мать смущала их обоих. Она осыпала их ласками и задаривала и проводила с ними целые часы тогда, когда им менее всего этого хотелось; когда это подавляло их детскую совесть своей незаслуженностью, и они не узнавали себя в тех ласкательных прозвищах, которыми взбалмошно сыпал ее инстинкт.

И часто, когда в их душах наступал на редкость ясный покой, и они не чувствовали преступников в себе, когда от совести их отлегало все таинственное, чурающееся обнаружения, похожее на жар перед сыпью, они видели мать отчужденной, сторонящейся их и без поводу вспыльчивой. Являлся почтальон. Письмо относилось по назначению—маме. Она

принимала, не благодаря. „Ступай к себе!“ Хлопала дверь. Они тихо вешали голову и, заскучав, отдавались долгому, унылому недоуменью.

Вначале, случалось, они плакали; потом, после одной особенно резкой вспышки, стали бояться; затем, с течением лет, это перешло у них в затаенную, все глубже укоренявшуюся неприязнь.

Все, что шло от родителей к детям, приходило невпопад, со стороны, вызванное не ими, но какими-то посторонними причинами, и отдавало далекостью, как это всегда бывает, и загадкой, как ночами нытье по заставам, когда все ложатся спать.

Это обстоятельство воспитывало детей. Они этого не сознавали потому, что мало кто и из взрослых знает и слышит то, что зиждет, ладит и шьет его. Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и за работой разговаривает разве с теми только, кто желает ей успеха и любит ее верстак. Помочь ей не властен никто, помешать—может всякий. Как можно ей помешать? А вот как. Если доверить дереву заботу о его собственном росте, дерево все сплошь пойдет проростью или уйдет целиком в корень или расточится на один лист, потому что оно забудет о вселенной, с которой надо брать пример, и, произведя что-нибудь одно из тысячи, станет в тысячах производить одно и то же.

И чтобы не было суков в душе,—чтобы рост ее не застаивался, чтобы человек не замешивал своей тупости в устройство своей бессмертной сути, заведено много такого, что отвлекает его пошлое любопытство от жизни, которая не любит работать при нем и его всячески избегает. Для этого заведены все заправские религии и все общие понятия и все предрассудки людей, и самый яркий из них, самый развлекающий—психология.

Из первобытного младенчества дети уже вышли. Понятия кары, воздаяния, награды и справедливости проникли уже по-детски в их душу и отвлекали в сторону их сознание, давая жизни делать с ними то, что она считала нужным, веским и прекрасным.

II

Мисс Hawthorn этого б не сделала. Но в один из приступов своей беспричинной нежности к детям госпожа Люверс по самому пустому поводу наговорила резкостей англичанке, и в доме ее не стало. Вскоре и как-то незаметно на ее месте выросла какая-то чахлая француженка. Впоследствии Женя припоминала только, что француженка похожа была на муху, и никто ее не любил. Имя ее было утрачено совершенно, и Женя не могла бы сказать, среди каких слогов и звуков можно на это имя набрести. Она только помнила, что француженка сперва накричала на нее, а потом взяла ножницы и выстригла то место в медвежьей шкуре, которое было закровавлено.

Ей казалось, что теперь всегда на нее будут кричать, и голова никогда не пройдет и постоянно будет болеть, и никогда уже больше не будет понятна та страница в ее любимой книжке, которая тупо сплывалась перед ней, как учебник после обеда.

Тот день тянулся страшно долго. Матери не было в тот день. Женя об этом не жалела. Ей казалось даже, что она ее отсутствию рада.

Вскоре долгий день был предан забвению среди форм passè и futur antèrieur, поливки гиацинтов и прогулок по Сибирской и Оханской. Он был позабыт настолько, что долготу другого, второго по счету в ее жизни, она заметила и ощутила только к вечеру, за чтением при лампе, когда лениво подвигавшаяся повесть навела ее на сотни самых праздных размышлений. Когда впоследствии она припомнила тот дом на Осинской, где они тогда жили, он представлялся ей всегда таким, каким она его видела в тот второй долгий день, на его исходе. Он был действительно долог. На дворе была весна. Трудно назревающая и больная, весна на Урале прорывается затем широко и бурно, в срок одной какой-нибудь ночи, и бурно и широко протекает затем. Лампы только оттеняли пустоту вечернего воздуха. Они не давали света, но набухали изнутри, как больные плоды, от той мутной и светлой водянки, которая раздувала их одутловатые колпаки. Они отсутствовали. Они попадались, где надо, на своих местах,

на столах и спускались с лепных потолков в комнатах, где девочка привыкла их видеть. Между тем до комнат у ламп было касательства куда меньше, чем до весеннего неба, к которому они казались пододвинутыми вплотную, как к постели больного—питье. Душой своей они были на улице, где в мокрой земле копошился говор дворни и где, леденея, застывала на ночь редеющая капель. Вот где вечерами пропадали лампы. Родители были в отъезде. Впрочем, мать ожидалась, кажется, в этот день. В этот долгий или в ближайшие. Да, вероятно. Или, может быть, она нагрянула ненароком. Может быть и то.

Женя стала укладываться в постель и увидала, что день долог от того же, что и тот, и сначала подумала было достать ножницы и выстричь эти места в рубашке и на простыне, но потом решила взять пудры у француженки и затереть белым, и уже схватилась за пудреницу, как вошла француженка и ударила ее. Весь грех сосредоточился в пудре.

— Она пудрится! Только этого недоставало.

Теперь она поняла наконец. Она давно замечала.

Женя расплакалась от побоев, от крика и от обиды; от того, что, чувствуя себя неповинною в том, в чем ее подозревала француженка, знала за собой что-то такое, что было— она это *чувствовала*—куда сквернее ее подозрений. Надо было—это чувствовалось до отупенья настоятельно, чувствовалось в икрах и в висках—надо было неведомо отчего и зачем скрыть это, как угодно и во что бы то ни стало. Суставы, ноя, плыли слитным гипнотическим внушением. Томящее и измождающее, внушение это было делом организма, который таил смысл всего от девочки и, ведя себя преступником, заставлял ее полагать в этом кровотечении какое-то тошнотворное, гнусное зло. „Menteuse!“ Приходилось только отрицать, упорно запершись в том, что было гаже всего и находилось где-то в середине между срамом безграмотности и позором уличного происшествия. Приходилось вздрагивать, стиснув зубы, и, давясь слезами, жаться к стене. В Каму нельзя было броситься, потому что было еще холодно и по реке шли последние урывни.

Ни она, ни француженка не услышали во-время звонка. Поднявшаяся кутерьма ушла в глухоту черно-бурых шкур, и когда вошла мать, то было уже поздно. Она застала дочь в слезах, француженку—в краске. Она потребовала объяснения.

Француженка напрямик объявила ей, что—не Женя, нет—votre enfant, сказала она,—что ее дочь пудрится и что она замечала и догадывалась уже раньше. Мать не дала договорить ей—ужас ее был непритворен: девочке не исполнилось еще и тринадцати.

— Женя—ты?.. Господи, до чего дошло! (Матери в эту минуту казалось, что слово это имеет смысл, будто уже и раньше она знала, что дочка деградирует и опускается, и она только не распорядилась во-время—и вот застает ее на такой низкой степени паденья.) Женя, говори всю правду—будет хуже!—что ты делала...—с пудреницей, хотела, вероятно, сказать госпожа Люверс, но сказала:—с этой вещью,—и схватила „эту вещь“ и взмахнула ею в воздухе.

— Мама, не верь m-lle, я никогда...—и она разрыдалась.

Но матери слышались злобные ноты в этом плаче, которых не было в нем; и она чувствовала виноватой себя, и внутренно себя ужасалась; надо было, по ее мнению, исправить все, надо было, пускай и против материнской природы, „возвыситься до педагогических и благоразумных мер“: она решила не поддаваться состраданью. Она положила выждать, когда прольется поток этих глубоко терзавших ее слез.

И она села на кровать, устремив спокойный и пустой взгляд на краешек книжной полки. От нее пахло дорогими духами. Когда дочь пришла в себя, она снова приступила к ней с расспросами. Женя кинула заплаканными глазами по окну и всхлипнула. Шел и, верно, шумел лед. Блистала звезда. Ковко и студено, но без отлива, шершаво чернела пустынная ночь. Женя отвела глаза от окна. В голосе матери слышалась угроза нетерпенья. Француженка стояла у стены, вся—серьезность и сосредоточенная педагогичность. Ее рука по-адъютантски покоилась на часовом шнурке. Женя снова глянула на звезды и на Каму. Она решилась. Несмотря ни на холод, ни на урывни. И—бросилась. Она, путаясь в словах, непохоже и страшно рассказала матери про это. Мать дала договорить ей до конца только потому, что ее поразило, сколько души вложил ребенок в это сообщение. Понять—поняла-то она все по первому слову. Нет, нет: по тому, как глубоко глотнула девочка, приступая к рассказу. Мать слушала, радуясь, любя и изнывая от нежности к этому худенькому тельцу. Ей хотелось броситься

на шею к дочери и заплакать. Но—педагогичность; она поднялась с кровати и сорвала с постели одеяло. Она подозвала дочь и стала ее гладить по голове медленно-медленно, ласково.

— Хорошая де...—вырвалось у ней скороговоркой. Она шумно и широко отошла к окну и отвернулась от них.

Женя не видала француженки. Стояли слезы, стояла мать—во всю комнату.

— Кто оправляет постель?

Вопрос не имел смысла. Девочка дрогнула. Ей стало жаль Грушу. Потом на знакомом ей французском языке, незнакомым языком было что-то сказано: строгие выражения. А потом опять ей, совсем другим голосом:

— Женечка, ступай в столовую, детка, я сейчас тоже туда приду и расскажу тебе, какую мы чудную дачу на лето вам... нам на лето с папой сняли.

Лампы были опять свои, как зимой, дома, с Люверсами,—горячие, усердные, преданные. По синей шерстяной скатерти резвилась мамина куница. „Выиграно задержусь на Благодати жди концу Страстной если...“; остального нельзя было прочесть: депеша была загнута с уголка. Женя села на край дивана, усталая и счастливая. Села скромно и хорошо, точь-в-точь, как села полгода спустя в коридоре Екатеринбургской гимназии на край желтой холодной лавки, когда, ответив на устном экзамене по русскому языку на пятерку, узнала, что „может итти“.

На другое утро мать сказала ей, что́ нужно будет делать в таких случаях и что это ничего, не надо бояться, что это будет не раз еще. Она ничего не назвала и ничего ей не объяснила, но прибавила, что теперь она сама займется предметами с дочерью, потому что больше уезжать не будет.

Француженка была разочтена за нераденье, пробыв немного месяцев в семье. Когда ей наняли извозчика и она стала спускаться по лестнице, она встретилась на площадке с подымавшимся доктором. Он очень неприветливо ответил на ее поклон и ничего не сказал ей на прощанье; она догадалась, что он уже знает все, нахмурилась и повела плечами.

В дверях стояла горничная, дожидавшаяся пропустить доктора, и потому в передней, где находилась Женя, дольше,

чем полагалось, стоял гул шагов и гул отдающего камня. Так и запечатлелась у ней в памяти история ее первой девичьей зрелости: полный отзвук щебечущей утренней улицы, медлящей на лестнице, свежо проникающей в дом; француженка, горничная и доктор, две преступницы и один посвященный, омытые, обеззараженные светом, прохладой и звучностью шаркавших маршей.

Стоял теплый, солнечный апрель. „Ноги, ноги оботрите!“—из конца в конец носил голый, светлый коридор. Шкуры убирались на лето. Комнаты вставали чистые, преображенные и вздыхали облегченно и сладко. Весь день, весь томительно беззакатный, надолго увязавший день, по всем углам и середь комнат, по прислоненным к стенке стеклам и в зеркалах, в рюмках с водой и на синем садовом воздухе, ненасытно и неутолимо, щурясь и охорашиваясь, смеялась и неистовствовала черемуха и мылась, захлебываясь, жимолость. Круглые сутки стоял скучный говор дворов; они объявляли ночь низложенной и твердили мелко и дробно, деньденской, с затеканьями, действовавшими как сонный отвар, что вечера никогда больше не будет и они никому не дадут спать. „Ноги, ноги!“—но им горелось, они приходили пьяные с воли, со звоном в ушах, за которым упускали понять толком сказанное и рвались поживей отхлебать и отжеваться, чтобы, с дерущим шумом сдвинув стулья, бежать снова назад, в этот на вылет, за ужин ломящийся день, где просыхающее дерево издавало свой короткий стук, где пронзительно щебетала синева и жирно, как топленая, блестела земля. Граница между домом и двором стиралась. Тряпка не домывала наслеженного. Полы поволакивались сухой и светлой мазней и похрустывали.

Отец навез сластей и чудес. В доме стало чудно хорошо. Камни с влажным шелестом предупреждали о своем появлении из папиросной, постепенно окрашивавшейся бумаги, которая становилась все более и более прозрачной по мере того, как слой за слоем разворачивались эти белые, мягкие, как газ, пакеты. Одни походили на капли миндального молока, другие—на брызги голубой акварели, третьи—на затверделую сырную слезу. Те были слепы, сонны или мечтательны,

эти—с резвою искрой, как смерзшийся сок корольков. Их не хотелось трогать. Они были хороши на пенившейся бумаге, выделявшей их, как слива свою тусклую глень.

Отец был необычайно ласков с детьми и часто провожал мать в город. Они возвращались вместе и казались радостны. А главное, оба были спокойны духом, ровны и приветливы, и когда мать урывками, с шутливой укоризной взглядывала на отца, то казалось, она черпает этот мир в его глазах, некрупных и некрасивых, и изливает его потом своими, крупными и красивыми, на детей и окружающих.

Раз родители поднялись очень поздно. Потом, неизвестно с чего, решили поехать завтракать на пароход, стоявший у пристани, и взяли с собой детей. Сереже дали отведать холодного пива. Все это так понравилось им, что завтракать на пароход ездили еще как-то. Дети не узнавали родителей. Что с ними сталось? Девочка недоуменно блаженствовала, и ей казалось, что так будет теперь всегда. Они не опечалились, когда узнали, что на дачу их в это лето не повезут. Скоро отец уехал. В доме появились три дорожных сундука, огромных, желтых, с прочными накладными ободьями.

III

Поезд отходил поздно ночью. Люверс переехал месяцем раньше и писал, что квартира готова. Несколько извозчиков трусцой спускались к вокзалу. Его близость сказалась по цвету мостовой. Она стала черна, и уличные фонари ударили по бурому чугуну. В это время с виадука открылся вид на Каму, и под них грохнулась и выбежала черная, как сажа, яма, вся в тяжестях и в тревогах. Она стрелой побежала прочь и там, далеко-далеко, в том конце, пугаясь, раскатилась и затряслась мигающими бусинами сигнализационных далей.

Было ветрено. С домков и заборов слетали их очертанья, как обечайки с решет, и зыбились и трепались в рытом воздухе. Пахло картошкой. Их извозчик выбрался из череды подскакивавших спереди корзин и задков и стал обгонять их. Они издали узнали полок со своим багажом; поровнялись; Ульяша что-то громко кричала барыне с возу, но гогот колес

ее покрывал, и она тряслась и подскакивала, и подскакивал ее голос.

Девочка не замечала печали за новизной всех этих ночных шумов и чернот и свежести. Далеко-далеко что-то загадочно чернелось. За пристанскими бараками болтались огоньки, город полоскал их в воде с бережка и с лодок. Потом их стало много, и они густо и жирно зароились, слепые, как черви. На Любимовской пристани трезво голубели трубы, крыши пакгаузов, палубы. Лежали, глядя на звезды, баржи. „Здесь—крысятник“,—подумала Женя. Их окружили белые артельщики. Сережа соскочил первый. Он оглянулся и очень удивился, увидав, что ломовик с их поклажей тоже тут уже,—лошадь задрала морду, хомут вырос, встал торчмя, петухом, она уперлась в задок и стала осаживать. А его занимало всю дорогу, насколько те от них отстанут.

Мальчик стоял, упиваясь близостью поездки, в беленькой гимназической рубашке. Путешествие было обоим в новинку, но он знал и любил уже слова: депо, паровозы, запасные пути, беспересадочный, и звукосочетание „класс“ казалось ему на вкус кисло-сладким. Всем этим увлекалась и сестра, но по-своему, без мальчишеской систематичности, которая отличала увлечения брата.

Внезапно рядом, как из-под земли, выросла мать. Было приказано повести детей в буфет. Оттуда, пробираясь павой через толпу, пошла она прямо к тому, что было названо в первый раз на воле громко и угрожающе „начальником станции“ и часто упоминалось затем в различных местах, с вариациями, среди разнообразия давки.

Их одолевала зевота. Они сидели у одного из окон, которые были так пыльны, так чопорны и так огромны, что казались какими-то учреждениями из бутылочного стекла, где нельзя оставаться в шапке. Девочка видела: за окном не улица, а тоже комната, только серьезнее и угрюмее, чем эта—в графине; и в ту комнату медленно въезжают паровозы и останавливаются, наведя мраку; а когда они уезжают и очищают комнату, то оказывается, что это не комната, потому что там есть небо, за столбиками, и на той стороне—горка, и деревянные дома, и туда идут, удаляясь, люди; там, может

быть, поют петухи сейчас и недавно был и наслякотил водовоз...

Это был вокзал провинциальный, без столичной сутолоки и зарев, с заблаговременно стягивавшимися из ночного города уезжающими, с долгим ожиданием; с тишиной и переселенцами, спавшими на полу среди охотничьих собак, сундуков, зашитых в рогожу машин и не зашитых велосипедов.

Дети улеглись на верхних местах. Мальчик тотчас заснул. Поезд стоял еще. Светало, и постепенно девочке уяснилось, что вагон синий, чистый и прохладный. И постепенно уяснялось ей... Но спала уже и она.

Это был очень полный человек. Он читал газету и колыхался. При взгляде на него становилось явным то колыханье, которым, как и солнцем, было пропитано и залито все купэ. Женя разглядывала его сверху с той ленивой аккуратностью, с какой думает о чем-нибудь или на что-нибудь смотрит вполне проспавшийся, свежий человек, оставаясь лежать только оттого, что ждет, чтобы решение встать пришло само собой, без его помощи, ясное и непринужденное, как остальные его мысли. Она разглядывала его и думала, откуда он взялся к ним в купэ, и когда это успел он одеться и умыться. Она понятия не имела об истинном часе дня. Она только проснулась, следовательно—утро. Она его разглядывала, а он не мог видеть ее: полати шли наклоном вглубь к стене. Он не видел ее, потому что и он поглядывал изредка из-за ведомостей вверх, вкось, вбок, и когда он подымал глаза на ее койку, их взгляды не встречались: он либо видел один матрац, либо же... но она быстро подобрала их под себя и натянула ослабнувшие чулочки. „Мама—в этом углу; она убралась уже и читает книжку,—отраженно решила Женя, изучая взгляды толстяка.—А Сережи нет и внизу. Так где же он?" И она сладко зевнула и потянулась. „Страшно жарко",—поняла она только теперь и с голов заглянула на полуспущенное окошко. „А где же земля?"—ахнуло у ней в душе.

То, что она увидала, не поддается описанию. Шумный орешник, в который вливался, змеясь, их поезд, стал морем, миром, чем угодно, всем. Он сбегал, яркий и ропщущий, вниз широко и отлого и, измельчав, сгустившись и замглясь,

круто обрывался, совсем уже черный. А то, что высилось там, по ту сторону срыва, походило на громадную какую-то, всю в кудрях и в колечках, зелено-палевую грозовую тучу, задумавшуюся и остолбеневшую. Женя затаила дыхание и сразу же ощутила быстроту этого безбрежного, забывшегося воздуха, и сразу же поняла, что та грозовая туча—какой-то край, какая-то местность, что у ней есть громкое горное имя, раскатившееся кругом, с камнями и с песком сброшенное вниз в долину; что орешник только и знает, что шепчет и шепчет его; тут и там, и та-а-ам вон; только его.

— Это—Урал?—спросила она у всего купэ, перевесясь.

Весь остаток пути она, не отрываясь, провела у коридорного окна. Она приросла к нему и поминутно высовывалась. Она жадничала. Она открыла, что назад глядеть приятней, чем вперед. Величественные знакомцы туманятся и отходят вдаль. После краткой разлуки с ними, в течение которой с отвесным грохотом, на гремящих цепях, обдавая затылок холодом, подают перед самым носом новое диво, опять их разыскиваешь. Горная панорама раздалась, и все растет и ширится. Одни стали черны, другие освежены, те помрачены, эти помрачают. Они сходятся и расходятся, спускаются и совершают восхожденья. Все это производится по какому-то медлительному кругу, как вращенье звезд, с бережной сдержанностью гигантов, на волосок от катастрофы, с заботою о целости земли. Этими сложными передвижениями заправляет ровный, великий гул, недоступный человеческому уху и всевидящий. Он окидывает их орлиным оком, немой и темный, он делает им смотр. Так строится, строится и перестраивается Урал.

Она зашла на мгновенье в купэ, сощурив глаза от резкого света. Мама беседовала с незнакомым господином и смеялась. Сережа ерзал по пунцовому плюшу, держась за какой-то ременной настенный рубезок. Мама сплюнула в кулачок последнюю косточку, сбила оброненные с платья и, гибко и стремительно наклонясь, зашвырнула весь сор под лавку. У толстяка, против ожиданий, был сиплый надтреснутый голосок. Он, видимо, страдал одышкой. Мать представила ему Женю и протянула ей мандаринку. Он был смешной и, вероятно,

добрый и, разговаривая, поминутно подносил пухлую руку ко рту. Его речь пучилась и, вдруг спираемая, часто прерывалась. Оказалось, он сам из Екатеринбурга, изъездил Урал вдоль и поперек и прекрасно знает, а когда, вынув золотые часы из жилетного кармана, он поднес их к самому носу и стал совать обратно, Женя заметила, какие у него добродушные пальцы. Как это в натуре полных, он брал движением дающего, и рука у него все время вздыхала, словно поданная для целованья, и мягко прыгала, будто била мячом об пол.

— Теперь скоро,—кося глаза, криво протянул он вбок от мальчика, хотя обращался именно к нему, и вытянув губы.

— Знаешь, столб, вот они говорят, на границе Азии и Европы, и написано: „Азия“,—выпалил Сережа, съезжая с дивана, и побежал в коридор.

Женя ничего не поняла, а когда толстяк растолковал ей, в чем дело, она тоже побежала на тот бок ждать столба, боясь, что его уже пропустила. В очарованной ее голове „граница Азии“ встала в виде фантасмагорического какого-то рубежа, вроде тех, что ли, железных брусьев, которые полагают между публикой и клеткой с пумами полосу грозной, черной, как ночь, и вонючей опасности. Она ждала этого столба, как поднятия занавеса над первым актом географической трагедии, о которой наслышалась сказок от видевших, торжественно волнуясь тем, что и она попала, и вот скоро увидит сама.

А меж тем то, что раньше понудило ее уйти в купэ к старшим, однообразно продолжалось: серому ольшанику, которым полчаса назад пошла дорога, не предвиделось скончанья, и природа к тому, что ее вскорости ожидало, не готовилась. Женя досадовала на скучную, пыльную Европу, мешкотно отдалявшую наступление чуда. Как же опешила она, когда, словно на Сережин неистовый крик, мимо окна мелькнуло и стало боком к ним и побежало прочь что-то вроде могильного памятничка, унося на себе в ольху от гнавшейся за ним ольхи долгожданное сказочное название! В это мгновение множество голов, как по уговору, сунулось из окон всех классов, и тучей пыли несшийся под уклон поезд оживился. За Азией давно уже числился не один десяток прогонов,

а все еще трепетали платки на летевших головах и переглядывались люди, и были гладкие и обросшие бородой, и летели все в облаках крутившегося песку, летели и летели мимо все той же пыльной, еще недавно европейской, уже давно азиатской ольхи.

IV

Жизнь пошла по-новому. Молоко не доставлялось на дом, на кухню, разносчицей; его приносила по утрам Ульяша парами, и особенные, другие, не пермские булки. Тротуары здесь были какие-то нето мраморные, нето алебастровые, с волнистым белым глянцем. Плиты и в тени слепили, как ледяные солнца, жадно поглощая тени нарядных деревьев, которые растекались, на них растопясь и разжидившись. Здесь совсем по-иному выходилось на улицу, которая была широка и светла, с насаждениями.

— Как в Париже,—повторяла Женя вслед за отцом.

Он сказал это в первый же день их приезда. Было хорошо и просторно. Отец закусил перед выездом на вокзал и не принимал участия в обеде. Его прибор остался чистый и светлый, как Екатеринбург, и он только разложил салфетку и сидел боком и что-то рассказывал. Он расстегнул жилет, и его манишка выгнулась свежо и мощно. Он говорил, что это прекрасный европейский город и звонил, когда надо было убрать и подать еще что-то, и звонил и рассказывал. И по неизвестным ходам из еще не известных комнат входила бесшумная белая горничная, вся крахмально-сборчатая и черненькая, ей говорилось „вы", и, новая,— она, как знакомым, улыбалась барыне и детям. И ей отдавались какие-то приказания насчет Ульяши, которая находилась там, в неизвестной и, вероятно, очень-очень темной кухне, где, наверное, есть окно, из которого видно что-нибудь новое: колокольню какую-нибудь, или улицу, или птиц. И Ульяша, верно, расспрашивает сейчас там эту барышню, надевая что похуже, чтобы потом заняться раскладкой вещей; спрашивает и осваивается, и смотрит, в каком углу печь, в том ли, как в Перми, или еще где.

Мальчик узнал от отца, что в гимназию ходить недалеко, совсем поблизости—и они должны были ее видеть, проезжая; отец выпил нарзану и, глотнув, продолжал:

— ...Неужели не показал? Но отсюда ее не видать, вот из кухни, может быть (он прикинул в уме), и то разве крышу одну.

Он выпил еще нарзану и позвонил.

Кухня оказалась свежая, светлая, точь-в-точь такая,—уже через минуту казалось девочке,—какую она наперед загадала в столовой и представила,—плита изразцовая, отливала бело-голубым, окон было два, в том порядке, в каком она того ждала; Ульяша накинула что-то на голые руки, комната наполнилась детскими голосами, по крыше гимназии ходили люди и торчали верхушки лесов.

— Да, она ремонтируется,—сказал отец, когда они прошли все чередом, шумя и толкаясь, в столовую по уже известному, но еще не изведанному коридору, в который надо будет еще наведаться завтра, когда она разложит тетрадки, повесит за ушко свою умывальную перчатку и, словом, покончит с этой тысячей дел.

— Изумительное масло,—сказала мать, садясь.

А они прошли в классную, которую ходили смотреть еще в шапках, только приехав.

— Чем же это—Азия?—подумала она вслух.

Но Сережа отчего-то не понял того, что наверняка бы понял в другое время: до сих пор они жили парой. Он раскатился к висевшей карте и сверху вниз провел рукой вдоль по Уральскому хребту, взглянув на нее, сраженную, как ему казалось, этим доводом.

— Условились провести естественную границу, вот и все.

Она же вспомнила о сегодняшнем полдне, уже таком далеком. Не верилось, что день, вместивший все это,—вот этот самый, который сейчас в Екатеринбурге, и тут еще не весь, не кончился еще. При мысли о том, что все это отошло назад, сохраняя свой бездыханный порядок, в положенную ему даль, она испытала чувство удивительной душевной усталости, как чувствует ее к вечеру тело после трудового дня. Будто и она участвовала в оттискивании и перемещении тех тяжелых красот, и надорвалась. И почему-то уверенная в том, что он, ее Урал, там, она повернулась и побежала в кухню через столовую, где посуды стало меньше, но еще оставалось изу-

мительное масло со льдом на потных кленовых листьях и сердитая минеральная вода.

Гимназия ремонтировалась, и воздух, как швеи мадаполам на зубах, пороли резкие стрижи, и внизу,—она высунулась,— блистал экипаж у раскрытого сарая, и сыпались искры с точильного круга, и пахло всем съеденным, лучше и занимательней, чем когда это подавалось, пахло грустно и надолго, как в книжке. Она забыла, зачем вбежала, и не заметила, что ее Урала в Екатеринбурге нет, но заметила, как постепенно, подворно темнеет в Екатеринбурге и как поют внизу, под ними, за легкой, верно, работой: вымыли, верно, пол и стелют рогожи жаркими руками,—и как выплескивают воду из судомойной лохани, и хотя это выплеснули внизу, но кругом так тихо! И как там клокочет кран, как...—Ну вот, барышня...—но она еще чуждалась новенькой и не желала слушать ее,— ...как,—додумывала она свою мысль,—внизу под ними знают и, верно, говорят: „Вот во второй номер господа нынче приехали“.

В кухню вошла Ульяша.

Дети спали крепко в эту первую ночь, и проснулись: Сережа—в Екатеринбурге, Женя—в Азии, как опять широко и странно подумалось ей. На потолках свежо играл слоистый алебастр.

Это началось еще летом. Ей объявили, что она поступит в гимназию. Это было только приятно. Но это объявили ей. Она не звала репетитора в классную, где солнечные колера так плотно прилипали к выкрашенным клеевою краской стенам, что вечеру только с кровью удавалось отодрать пристававший день. Она не позвала его, когда, в сопровождении мамы, он зашел сюда знакомиться „со своей будущей ученицей“. Она не назначала ему нелепой фамилии Диких. И разве это она того хотела, чтобы отныне всегда солдаты учились в полдень, крутые, сопатые и потные, как красная судорога крана при порче водопровода, и чтобы сапоги им отдавливала лиловая грозовая туча, знавшая толк в пушках и колесах куда больше их белых рубах, белых палаток и белейших офицеров? Просила ли она о том, чтобы теперь всегда две вещи: тазик и салфетка, входя в сочетание, как угли в дуговой лампе, вызывали моментально испарявшуюся

третью вещь: идею смерти, как та вывеска у цырюльника, где это случилось с ней впервые? И с ее ли согласия красные, „запрещавшие останавливаться" рогатки стали местом каких-то городских, запретно останавливавшихся тайн, а китайцы — чем-то лично страшным, чем-то Жениным и ужасным? Не все, разумеется, ложилось на душу так тяжело. Многое, как ее близкое поступление в гимназию, бывало приятно. Но, как и оно, все это объявлялось ей. Перестав быть поэтическим пустячком, жизнь забродила крутой черной сказкой постольку, поскольку стала прозой и превратилась в факт. Тупо, ломотно и тускло, как бы в состоянии вечного протрезвления, попадали элементы будничного существования в завязывавшуюся душу. Они опускались на ее дно, реальные, затверделые и холодные, как сонные оловянные ложки. Там, на дне, это олово начинало плыть, сливаясь в комки, капая навязчивыми идеями.

V

У них часто стали бывать за чаем бельгийцы. Так они назывались. Так называл их отец, говоря: „Сегодня будут бельгийцы". Их было четверо. Безусый бывал редко и был неразговорчив. Иногда он приходил один ненароком, в будни, выбрав какое-нибудь нехорошее, дождливое время. Прочие трое были неразлучны. Лица их были похожи на куски свежего мыла, непочатого, из обертки, душистые и холодные. У одного была борода, густая и пушистая, и пушистые каштановые волосы. Они всегда являлись в обществе отца с каких-то заседаний. В доме все их любили. Они говорили, будто проливали воду на скатерть: шумно, свежо и сразу, куда-то вбок, куда никто не ждал, с долго досыхавшими следами от своих шуток и анекдотов, всегда понятных детям, всегда утолявших жажду и чистых.

Вокруг возникал шум, блистала сахарница, никелевый кофейник, чистые крепкие зубы, плотное белье. Они любезно и учтиво шутили с матерью. Сослуживцы отца, они обладали очень тонким умением во-время сдержать его, когда в ответ на их быстрые намеки и упоминания о делах и людях, известных за этим столом только им, профессионалам, отец

начинал тяжело, на очень нечистом французском языке, пространно, с заминками говорить о контрагентах, о références. approuvées и о férocités, то есть bestialités, ce que veut dire en russe хищениях на Благодати.

Безусый, ударившийся с некоторого времени в изучение русского языка, часто пробовал себя на этом новом поприще, но оно не держало его еще. Было неловко смеяться над французскими периодами отца, и всех его férocités не на шутку тяготили; но, казалось, само положение освящало тот хохот, которым покрывались Негаратовы попытки.

Звали его Негарат. Он был валлонец из фламандской части Бельгии. Ему рекомендовали Диких. Он записал его адрес по-русски, смешно выводя сложные буквы, как ю, я, е. Они у него выходили двойные какие-то, розные и растопыренные. Дети позволили себе встать на коленки на кожаные подушки кресел и положить локти на стол,—все стало дозволенным, все смешалось,—ю было не ю, а какой-то десяткой; вокруг ревели и заливались, Эванс бил кулаком по столу и утирал слезы, отец трясся и, красный, похаживая по комнате, твердил: „Нет, не могу", и комкал носовой платок.

— Faites de nouveau,— поддавал жару Эванс.—Commancer.

И Негарат приоткрывал рот, медля, как заика, и обдумывая, как разродиться ему этим неисследимым, как колонии в Конго, русским „еры".

— Dites: „увы", „невыгодно",—спав с голоса, влажно и сипло предлагал отец.

— Ouvoui, niévoui.

— Entends tu?—ouvoui, niévoui—ouvoui, niévoui. Oui, oui,—chos inóuie, charmant!—закатывались бельгийцы.

Лето прошло. Экзамены сданы были успешно, а иные и превосходно. Лился, как из ключей, холодный, прозрачный шум коридоров. Тут все знали друг друга. Желтел и золотился лист в саду. В его светлом пляшущем отблеске маялись классные стекла. Матовые вполовину, они туманились и волновались низами. Форточки сводило синей судорогой. Их студеную ясность бороздили бронзовые ветки кленов.

Она не знала, что все ее волненья будут превращены в такую веселую шутку. Разделить это число аршин и верш-

ков на семь! Стоило ли проходить доли, золотники, лоты, фунты и пуды? граны, драхмы, скрупулы и унции, казавшиеся ей всегда четырьмя возрастами скорпиона? Отчего в слове „полезный“ пишется „е“, а не „ѣ“? Она затруднилась ответом только потому, что все ее силы соображения сошлись в усилии представить себе те неблагополучные основания, по каким когда-либо в мире могло возникнуть слово „полезный“, дикое и косматое в таком начертаньи. Ей осталось неизвестно, почему ее так и не отдали в гимназию тогда, хотя она была принята и зачислена и уже кроилась кофейного цвета форма и примерялась потом на булавках скупо и докучно, часами; а в комнате у ней завелись такие горизонты, как сумка, пенал, корзиночка для завтраков и замечательно омерзительная снимка.

Посторонний

I

Девочка была с головой увязана в толстый шерстяной платок, доходивший ей до коленок, и курочкой похаживала по двору. Жене хотелось подойти к татарочке и заговорить с ней. В это время стукнули створки разлетевшегося оконца. „Колька!“—кликнула Аксинья. Ребенок, походивший на крестьянский узел с наспех воткнутыми валенками, быстро просеменил в дворницкую.

Брать работу на двор всегда значило—затупив до утраты смысла какое-нибудь примечанье к правилу, итти потом наверх начинать все сызнова в комнатах. Они разом, с порога прохватывали особым полумраком и прохладой, особой, всегда неожиданной знакомостью, с какою мебель, заняв раз навсегда предписанные места, на них оставалась. Будущего нельзя предсказать. Но его можно увидеть, войдя с воли в дом. Здесь налицо уже его план, то размещенье, которому, непокорное во всем прочем, оно подчинится. И не было такого сна, навеянного движеньем воздуха на улице, которого бы живо не стряхнул бодрый и роковой дух дома, ударявший вдруг, с порога прихожей.

На этот раз это был Лермонтов. Женя мяла книжку, сло-

жив ее переплетом внутрь. В комнатах она, сделай это Сережа, сама бы восстала на „безобразную привычку“. Другое дело—на дворе.

Прохор поставил мороженицу наземь и пошел назад в дом. Когда он отворил дверь в спицынские сени, оттуда повалил глубящийся дьявольский лай голеньких генеральских собачек. Дверь захлопнулась с коротким звонком.

Между тем Терек, прыгая, как львица с косматой гривой на спине, продолжал реветь, как ему надлежало, и Женю стало брать сомнение только насчет того, точно ли на спине, не на хребте ли все это совершается. Справиться с книгой было лень, и золотые облака из южных стран, издалека, едва успев проводить его на север, уже встречали у порога генеральской кухни с ведром и мочалкой в руке.

Денщик поставил ведро, нагнулся и, разобрав мороженицу, принялся ее мыть. Августовское солнце, прорвав древесную листву, засело в крестце у солдата. Оно внедрилось, красное, в жухлое мундирное сукно и, как скипидаром, жадно его собой пропитало.

Двор был широкий, с замысловатыми закоулками, мудреный и тяжелый. Мощеный в середке, он давно не перемащивался, и булыжник густо порос плоской кудрявой травкой, издававшей в послеобеденные часы кислый лекарственный запах, какой бывает в зной возле больниц. Одним краешком, между дворницкой и каретником, двор примыкал к чужому саду.

Сюда-то, за дрова, и направилась Женя. Она подперла лестницу снизу плоскою полешкой, чтобы не сползла, утрясла ее на ходивших дровах и села на среднюю перекладину неудобно и интересно, как в дворовой игре. Потом поднялась и, взобравшись повыше, заложила книжку на верхний разоренный рядок, готовясь взяться за „Демона“; потом, найдя, что раньше лучше было сидеть, спустилась опять и забыла книжку на дровах и про нее не вспомнила, потому что теперь только заметила она по ту сторону сада то, чего не предполагала раньше за ним, и стала, разинув рот, как очарованная.

Кустов в чужом саду не было, и вековые дерева, унеся в высоту, к листве, как в какую-то ночь, свои нижние сучья, снизу оголяли сад, хоть он и стоял в постоянном полумраке,

воздушном и торжественном, и никогда из него не выходил. Сохатые, лиловые в грозу, покрытые седым лишаем, они позволяли хорошо видеть ту пустынную, малоезжую улочку, на которую выходил чужой сад тою стороной. Там росла желтая акация. Теперь кустарник сох, скрючивался и осыпался.

Вынесенная мрачным садом с этого света на тот, глухая улочка светилась так, как освещаются происшествия во сне; то есть очень ярко, очень кропотливо и очень бесшумно, будто солнце там, надев очки, шарило в курослепе.

На что ж так зазевалась Женя? На свое открытие, которое занимало ее больше, чем люди, помогшие ей его сделать.

Там лавочка, стало быть? За калиткой, на улице. На такой улице! „Счастливые",—позавидовала она незнакомкам. Их было три.

Они чернелись, как слово „затворница" в песне. Три ровных затылка, зачесанных под круглые шляпы, склонились так, будто крайняя, наполовину скрытая кустом, спит, обо что-то облокотясь, а две другие тоже спят, прижавшись к ней. Шляпы были черно-сизые, и гасли и сверкали на солнце, как насекомые. Они были обтянуты черным крепом. В это время незнакомки повернули головы в другую сторону. Верно, что-то в том конце улицы привлекло их внимание. Они поглядели с минуту на тот конец так, как глядят летом, когда мгновение растворено светом и удлинено, когда приходится щуриться и защищать глаза ладонью,—с такую-то минуту поглядели они и впали опять в прежнее состояние дружной сонливости.

Женя пошла было домой, но хватилась книжки и не сразу вспомнила, где книжка осталась. Она воротилась за ней, и когда зашла за дрова, то увидала, что незнакомки поднялись и собираются итти. Они поодиночке, друг за дружкой прошли в калитку. За ними странною, увечной походкой следовал невысокий человек. Он нес под мышкой большущий альбом или атлас. Так вот чем занимались они, заглядывая через плечо друг дружке, а она думала—спят. Соседки прошли садом и скрылись за службами. Уже низилось солнце. Доставая книжку, Женя потревожила поленницу. Сажень пробудилась и задвигалась, как живая. Несколько поленьев съехало вниз

и упало на дерн с легким стуком. Это послужило знаком, как сторожев удар в колотушку. Родился вечер. Родилось множество звуков, тихих, туманных. Воздух принялся насвистывать что-то старинное, заречное.

Двор был пуст. Прохор отработал. Он вышел за ворота. Там низко-низко, над самой травой, струнчато и грустно стлалось бренчанье солдатской балалайки. Над ней вился и плясал, сбрывался и падал, замирая в воздухе, и падал, и замирал, и потом, не достигнув земли, подымался ввысь тонкий рой тихой мошкары. Но бренчанье балалайки было еще тоньше и тише. Оно спускалось ниже мошек к земле и, не запылясь, лучше и воздушней, чем рой, пускалось назад в высоту, мерцая и обрываясь, с припаданьями, не спеша.

Женя возвращалась в дом. „Хромой,—подумала она про незнакомца с альбомом,—хромой, а из господ, без костылей". Она пошла с черного хода. На дворе настойно и приторно пахло ромашкой. „С некоторых пор у мамы составилась целая аптека, масса синих склянок с желтыми шляпками". Она медленно подымалась по лестнице. Железные перила были холодны, ступеньки скрежетали в ответ на шарканье. Вдруг ей пришло в голову что-то странное. Она шагнула через две ступеньки и задержалась на третьей. Ей пришло в голову, что с недавнего времени между мамой и дворничихой завелось какое-то неуследимое сходство. В чем-то совсем неуловимом. Она остановилась. В чем-то таком,—она задумалась,—в таком, что ли, что имеют в виду, когда говорят: все мы люди... или одним, мол, миром мазаны... или судьба кости не разбирает,—она носком отбросила валявшуюся склянку, склянка полетела вниз, упала в пыльные кули и не разбилась,—в чем-то, словом, таком, что очень-очень общо, общо всем людям. Но тогда почему же не между ней самой и Аксиньей? или Аксиньей, положим, и Ульяшей? Это показалось Жене тем страннее, что трудно было найти более несхожих: в Аксинье было что-то земляное, как на огородах, нечто напоминавшее вздутье картофелины или празелень бешеной тыквы, тогда как мама... Женя усмехнулась одной мысли о сравнимости.

А между тем именно Аксинья задавала тон этому навязывавшемуся сравнению. Она брала перевес в этом сбли-

женьи. От него не выигрывала баба, а проигрывала барыня. На мгновенье Жене померещилось что-то дикое. Ей показалось, что в маму вселилось какое-то начало простонародности, и она представила себе мать произносящей „шука“ вместо „щука“, „работам“ вместо „работаем“; а вдруг,—померещилось ей,—придет день и в своем новом шелковом капоте без кушака, кораблем, она возьмет да и брякнет: „К дверьми прислонь!“?

В коридоре пахло лекарством. Женя прошла к отцу.

II

Обстановка обновлялась. В доме появилась роскошь. Люверсы завели коляску и стали держать лошадей. Кучера звали Давлетша.

Резиновые шины составляли тогда полную новость. На прогулках оборачивались и провожали коляску глазами все: люди, заборы, часовни, петухи.

Госпоже Люверс долго не отпирали, и пока коляска, из почтения к ней, удалялась шагом, она кричала им вслед:

— Далеко не катай! до шлагбаума и назад; осторожней с горки.

А белесое солнце, достав ее с докторского крыльца, тянулось дальше, вдоль улицы и, дотянувшись до тугой и веснущатой, багровой Давлетшиной шеи, грело и ежило ее.

Они въехали на мост. Раздался разговор балок, лукавый, круглый и складный, сложенный некогда на все времена, свято зарубленный оврагом и памятный ему всегда, в полдень и в сон.

Выкормыш, взбираясь на гору, стал браться за срывистый, не дававшийся кремень; он вытянулся, ему было неспособно, и вдруг, напомнив в этом карабканьи ползущую саранчу, он, как и эта тварь, по природе летящая и скачущая, стал молниеносно красив в унизительности своих неестественных усилий; вот-вот, казалось, он не стерпит, гневно сверкнет крылами и взлетит. И действительно, лошадь дернулась, кинула передними голяшками и короткой скачью понеслась по пустырям. Давлетша стал подбирать ее, укорачивая вожжи. На них дряхло, лохмато и притупленно залаяла собака. Пыль была как ружейный порох. Дорога круто сворачивала влево.

Черная улица тупиком упиралась в красный забор железнодорожного депо. Она полошилась. Солнце било сбоку из-за кустов и пеленало толпу странных фигурок в женских кофтах. Солнце окатывало их белым хлещущим светом, который, казалось, хлынул из сапогом опрокинутого ведра, как жидкая известка, и валом бежал по земле. Улица полошилась.

Лошадь шла шагом.

— Свороти направо!—приказала Женя.

— Переезда не будет,—ответил Давлетша, кнутовищем показывая на красный конец,—тупик.

— Тогда стань, я погляжу.

— Это китайцы наши.

— Вижу.

Давлетша, поняв, что барышне говорить с ним неохота, пропел с оттяжкою „тпруу", и лошадь, колыхнув всем телом, стала, как вкопанная, а Давлетша засвистал тонко и заимчиво, с перерывами, понужая ее к чему надо.

Китайцы перебегали через дорогу, держа в руках громадные ржаные ковриги. Они были в синем и походили на баб в штанах. Непокрытые головы кончались у них узелком на темени и казались скрученными из носовых платков. Некоторые задерживались. Этих можно было разглядеть. Лица у них были бледные, землистые, склабящиеся. Они были смуглы и грязны, как медь, окисленная нуждой.

Давлетша вынул кисет и расположился делать свертыш. В это время из-за угла, оттуда, куда шли китайцы, вышло несколько женщин. Верно, и они шли за хлебом. Те, что были на дороге, стали гоготать и подбираться к ним, извиваясь так, как если бы у них руки были скручены веревкой за спину. Изгибистость их движений подчеркивалась тем в особенности, что по всему телу с ворота по самые щиколки они были одеты во что-то одно, как акробаты. В этом не было ничего страшного; женщины не побежали прочь, а стали и сами, смеясь.

— Послушай, Давлетша, чего это ты?

— Лошадь рванула! рванула! не сто-иить!—раз к разу огревая Выкормыша вожжой, дергал и бросал Давлетша.

— Тише, вывалишь. Зачем хлещешь ее?

— Надо.

И только выехав в поле и успокоив лошадь, уже заплясавшую было, хитрый татарин, стрелою вынесший барышню от зазорного зрелища, взял вожжи в правую руку и положил кисет, все время бывший у него в руке, за полу.

Они возвратились другой дорогой. Госпожа Люверс увидала их, вероятно, из докторского окошка. Она вышла на крыльцо в ту самую минуту, как мост, сказав им всю свою сказку, начал ее сызнова под телегой водовоза.

III

С Дефендовой, с девочкой, принесшей в класс рябины, наломанной дорогой в школу, Женя сошлась в один из экзаменов. Дочка псаломщика держала переэкзаменовку по-французски. Люверс Евгению посадили на первое свободное место. Так они и познакомились, сидев парой за одною фразой:

— Est-ce Pierre qui a volé la pomme?

— Oui. C'est Pierre qui vola... Etc.

То обстоятельство, что Женю оставили учиться дома, знакомству девочек конца не положило. Они стали встречаться. Встречи их, по милости маминых взглядов, были односторонни: Лизе разрешалось бывать у них, Жене заходить к Дефендовым пока что было запрещено.

Такая урывочность во встречах не помешала Жене быстро привязаться к подруге. Она влюбилась в Дефендову, то есть стала страдательным лицом в отношениях, их манометром, бдительным и разгоряченно-тревожным. Всякие Лизины упоминания про одноклассниц, неизвестных Жене, вызывали в ней чувство пустоты и горечи. У ней падало сердце: это были приступы первой ревности. Без поводов, силой одной своей мнительности убежденная в том, что Лиза хитрит,—наружно пряма, а в душе смеется надо всем, что есть в ней люверсовского, и за глаза, в классе и дома, потешается этим,—Женя принимала это как должное, как нечто, лежащее в природе привязанности. Ее чувство было настолько же случайно в выборе предмета, насколько в своем источнике отвечало властной потребности инстинкта, который не знает самолюбия и только и умеет, что страдать и жечь себя во славу фетиша, пока он чувствует впервые.

Ни Женя, ни Лиза ничем решительно друг на друга не

влияли, и Женя Женей, Лиза Лизой они встречались и расставались,—та с сильным чувством, эта—безо всякого.

Отец Ахмедьяновых торговал железом. В год между рождением Нуретдина и Смагила он неожиданно разбогател. Тогда Смагил стал зваться Самойлой, и сыновьям решено было дать русское воспитание. Отцом не была упущена ни одна особенность вольного барского быта, и за десятилетнюю гонку по всем статьям было перехвачено через край. Дети удались на славу, то есть пошли во взятый образчик, и шибкий размах отцовой воли остался в них, шумный и крушительный, как в паре закруженных и отданных на милость инерции маховиков. Самыми заправскими четвертоклассниками в четвертом классе были братья Ахмедьяновы. Они состояли из ломающегося мела, подстрочников, ружейной дроби, грохота парт, непристойных ругательств и шелушившейся в морозы, краснощекой и курносой самоуверенности. Сережа сдружился с ними в августе. К концу сентября у мальчика не стало лица. Это было в порядке вещей. Быть типическим гимназистом, а потом уже чем-нибудь еще—значило быть заодно с Ахмедьяновыми. А ничего так сильно не хотелось Сереже, как быть гимназистом.

Люверс не препятствовал дружбе сына. Он не видел перемены в нем, а если что и замечал, то приписывал это действию переходного возраста. К тому же голова у него была занята другими заботами. С некоторых пор он стал догадываться, что болен и что его болезнь неизлечима.

IV

Ей было жаль не его, хотя все вокруг только и говорили, что как это в самом деле до невероятности некстати и досадно. Негарат был слишком мудрен и для родителей, а все, что чувствовалось родителями в отношении чужих, смутно передавалось и детям, как домашним избалованным животным. Женю печалило только то, что теперь не все останется попрежнему, и станет бельгийцев трое, и не будет больше такого смеха, как бывало раньше.

Она случилась за столом в тот вечер, когда он объявил маме, что должен ехать в Дижон на отбывку какого-то сбора.

— Как же вы в таком случае еще молоды!—сказала мать и тут же ударилась на все лады его жалеть.

А он сидел, понуря голову. Разговор не клеился.

— Завтра придут замазывать окна,—сказала мать и спросила его, не закрыть ли.

Он сказал, что не надо, вечер теплый, а у них не замазывают и на зиму.

Вскоре подошел и отец. Он тоже рассыпался сожалениями при этой вести. Но перед тем как приняться сетовать, он приподнял брови и удивленно спросил:

— В Дижон? Да разве вы не бельгиец?

— Бельгиец, но во французском подданстве.

И Негарат стал рассказывать историю переселения „своих стариков" так занимательно, будто не был их сыном, и так тепло, будто говорил по книжке о чужих.

— Простите, я вас перебью,—сказала мать.—Женюра, ты все-таки притвори окошко. Вика, завтра придут замазывать. Ну, продолжайте. Однако этот дядя ваш порядочный негодяй! Неужели так, буквально под присягой?

— Да.

И он вернулся к прерванной повести. Когда же он дошел до дела, до бумаги, полученной им вчера по почте из консульства, то догадался, что девочка тут не понимает ничего и силится понять. Тогда он повернулся к ней и стал объяснять,—и виду не показывая, какая у него цель, чтобы не задеть ее самолюбия,—что эта воинская повинность за штука. „Да, да. Понимаю. Да. Понимаю, понимаю",—благодарно и машинально твердила девочка.

— Зачем ехать так далеко? Будьте солдатом тут, учитесь, где все,—поправилась она, ярко представив себе луга, открывавшиеся с монастырской горки.

„Да, да. Понимаю. Да, да, да",—опять зарядила девочка, а Люверсы, сидевшие без дела и находившие, что бельгиец забивает ребенку голову ненужными подробностями, вставляли свои сонные и упрощающие замечания. И вдруг наступила та минута, когда ей стало жалко всех тех, что давно когда-то или еще недавно были Негаратами в разных далеких местах и потом, распростясь, пустились в нежданный, с неба свалив-

шийся путь сюда, чтобы стать солдатами тут, в чуждом им Екатеринбурге.

Так хорошо разъяснил девочке все этот человек. Так не растолковывал ей еще никто. Налет бездушья, потрясающий налет наглядности, сошел с картины белых палаток; роты потускнели и стали собранием отдельных людей в солдатском платье, которых стало жалко в ту самую минуту, как введенный в них смысл одушевил их, возвысил, сделал близкими и обесцветил.

Они прощались.

— Часть книг я оставляю у Цветкова. Это тот приятель, о котором я вам столько рассказывал. Пожалуйста, пользуйтесь ими и дальше, madame. Ваш сын знает, где я живу, он бывает в семье домовладельца, а свою комнату я передаю Цветкову. Я его предупрежу.

— Пусть заходит. Цветков, вы говорите?

— Цветков.

— Пусть заходит. Познакомимся. В ранней молодости я знавала таких,—и она посмотрела на мужа, который остановился перед Негаратом, заложив руки за борт плотного пиджака, и рассеянно дожидался удобного оборота, чтобы условиться с бельгийцем окончательно насчет завтрашнего.—Пусть заходит. Только не теперь. Я позову. Да, возьмите, это ваша. Я не кончила. Читала и плакала. Доктор вообще советовал бросить. Во избежание волнения.

И она опять посмотрела на мужа, который опустил голову и стал, хрустя воротником и пыжась, интересоваться, на обеих ли ногах у него сапоги и хорошо ли вычищены.

— Так-то. Ну вот. Не забудьте трость. Мы еще увидимся, надеюсь?

— О, конечно. До пятницы ведь. Сегодня какой день?— испугался он, как в таких случаях пугаются уезжающие.

— Среда. Вика, среда?.. Вика, среда?

— Среда. Ecoutez,—дождался наконец своего череда отец,—demain.

И оба вышли на лестницу.

V

Они шли и разговаривали, и ей приходилось время от времени впадать в легкий бежок, чтобы не отстать от Сережи и попасть ему в шаг. Они шли очень шибко, и на ней ерзало пальто, потому что в помощь ходу она работала и руками, а руки держала в карманах. Было холодно, под ее калошами звонко лопался тонкий ледок. Они шли по маминому поручению покупать подарок уезжавшему и разговаривали.

— Так его везли на станцию?

— Да.

— А почему он сидел в сене?

— То есть как?

— В телеге. Весь. С ногами. Так не сидят.

— Я уже сказал. Потому что это уголовный преступник.

— Его везут на каторгу?

— Нет. В Пермь. У нас нет тюремного ведомства. Гляди под ноги.

Их путь лежал через дорогу, мимо медно-слесарного заведения. Все лето двери заведения стояли настежь, и Женя привыкла видеть этот перекресток в том дружном и общем оживлении, которым его наделяла жарко распахнутая пасть мастерской. Весь июль, август и сентябрь тут останавливались повозки, затрудняя разъезд; топтались мужики, больше татары; валялись ведра, куски кровельных желобов, рваные и ржавленные; тут чаще, чем где-нибудь еще, превратив толпу в табор, а татар замалевав в цыган, садилось в пыль жуткое, густое солнце в часы, когда за плетнем по соседству резали цыплят; тут окунались оглоблями в пыль высвобожденные из-под кузовов передки с натертыми у шкворней кружками.

Те же ведра и железца лежали неподобранные и теперь запорошенные морозцем. Но двери были приперты вплотную, как в праздник, по случаю холодов, и было пустынно на распутьи, и только сквозь круглую отдушину шел знакомый Жене дух какого-то рудничного затхлого газа, который заливался гремучим визгом и, ударяя в нос, осаждался на нёбе дешевой грушевой шипучкой.

— А в Перми есть тюремное правление?

— Да. Ведомство. По-моему—так итти ближе. В Перми есть, потому что это губернский город, а Екатеринбург— уездный. Маленький.

Дорожка мимо особняков была выложена красным кирпичиком и обрамлена кустами. На ней обозначались следы бессильного, мутного солнца. Сережа старался шагать как можно шумней.

— Если щекотать этот барбарис весной, когда он цветет, булавкой, он быстро хлопает всеми лепестками, как живой.

— Знаю.

— А ты боишься щекотки?

— Да.

— Значит, ты—нервная. Ахмедьяновы говорят, что если кто боится щекотки...

И они шли: Женя—бегом, Сережа—неестественными шагами, и на ней ерзало пальто. Они завидели Диких в ту самую минуту, как калитка, турникетом ходившая на столбе, врытом поперек дорожки, задержала их. Они завидели его издали, он вышел из того самого магазина, до которого им оставалось еще с полквартала. Диких был не один, вслед за ним вышел невысокий человек, который, ступая, старался скрыть, что припадает на ногу. Жене показалось, что она уже видела его где-то раз. Они разминулись, не здоровавшись. Те взяли наискосок. Диких детей не заметил, он шагал в глубоких калошах и часто подымал руки с растопыренными пальцами. Он не соглашался и доказывал всеми десятью, что собеседник его... (Но где ж это она его видала? Давно. Но где? Верно, в Перми, в детстве.)

— Постой!—У Сережи случилась неприятность. Он опустился на одно колено.—Погоди.

— Зацепил?

— Ну да. Идиоты, не могут толком гвоздя забить!

— Ну?

— Погоди, не нашел где. Я знаю того хромого. Ну вот. Слава богу.

— Разорвал?

— Нет, цела, слава богу. А в подкладке дыра—это старая. Это не я. Ну, пойдем. Стой, вот только коленку вычищу. Ну ладно, пошли.

— Я его знаю. Это—с Ахмедьянова двора. Негаратов. Помнишь, я рассказывал,—собирает людей, всю ночь пьют, свет в окне. Помнишь? Помнишь, когда я у них ночевал? В Самойлово рожденье. Ну, вот из этих. Помнишь?

Она помнила. Она поняла, что ошиблась, что в таком случае хромой не мог быть виден в Перми, что ей так померещилось. Но ей продолжало казаться, и в таких чувствах, молчаливая, перебирая в памяти все пермское, она, вслед за братом, произвела какие-то движения, за что-то взялась и что-то перешагнула и, осмотрясь по сторонам, очутилась в полусумраке прилавков, легких коробок, полок, суетливых приветствий и услуг—и... говорил Сережа.

Названия, которое им требовалось, у книгопродавца, торговавшего всех сортов табаками, не оказалось, но он успокоил их, заверив, что Тургенев обещан ему, выслан из Москвы и уже в пути, и что он только что—ну, назад минуту—говорил об этом же самом с господином Цветковым, их наставником. Детей рассмешила его верткость и то заблуждение, в котором он находился, и, попрощавшись, они пошли ни с чем.

Когда они вышли от него, Женя обратилась к брату с таким вопросом:

— Сережа! Я все забываю. Скажи, знаешь ты ту улицу, которую с наших дров видать?

— Нет. Никогда не бывал.

— Неправда, я сама тебя видала.

— На дровах? Ты...

— Да нет, не на дровах, а на той вот улице, за Череп-Саввичевским садом.

— А, ты вот о чем! А ведь верно. Как мимо итти, показываются. За садом, в глубине. Там сараи какие-то и дрова. Погоди. Так это значит наш двор?! Тот двор наш? Вот ловко! А я сколько раз хожу, думал, вот бы туда забраться—раз, и на дрова, а с дров на чердак, там лестницу я видел. Так это наш собственный двор?

— Сережа, покажешь мне дорогу туда?

— Опять. Ведь двор—наш. Чего показывать? Ты сама...

— Сережа, ты опять не понял. Я про улицу, а ты про двор. Я про улицу. На улицу покажи дорогу. Покажи, как пройти. Покажешь, Сережа?

— И опять не пойму. Да ведь мы сегодня шли... и вот опять скоро мимо итти.

— Что ты?

— Да то. А медник?.. На углу.

— Так та пыльная, значит...

— Ну да, она самая, про которую спрашиваешь. А Череп-Саввичи—в конце, направо. Не отставай, не опоздать бы к обеду. Сегодня раки.

Они заговорили о другом. Ахмедьяновы обещали научить его лудить самовары. А что касается до ее вопроса о „полуде“, то это такая горная порода, одним словом руда, вроде олова, тусклая. Ею паяют жестянки и обжигают горшки, и Ахмедьяновы все это умеют.

Им пришлось перебежать, а то обоз задержал бы их. Так они и забыли: она—про свою просьбу насчет малоезжей улочки, Сережа—про свое обещание ее показать. Они прошли мимо самой двери заведения, и тут, дохнув теплого и сального чада, какой бывает при чистке медных ручек и подсвечников, Женя моментально вспомнила, где видела хромого и трех незнакомок, и что они делали, и в следующую же минуту поняла, что тот Цветков, о котором говорил книгопродавец, и есть этот самый хромой.

VI

Негарат уезжал вечером. Отец поехал его провожать. С вокзала он вернулся поздно ночью, и в дворницкой его появление вызвало большой и не скоро улегшийся переполох. Выходили с огнями, кого-то кликали. Лил дождь, и гоготали кем-то упущенные гуси.

Утро встало пасмурное и трясущееся. Серая мокрая улица прыгала, как резиновая, болтался и брызгал грязью гадкий дождик, подскакивали повозки, и шлепали, переходя через мостовую, люди в калошах.

Женя возвращалась домой. Отголоски ночного переполоха еще сказывались на дворе и утром: в коляске ей было отказано. Она пустилась к подруге пешком, сказав, что пойдет в лавку за конопляным семенем. Но с полдороги, убедясь, что из торговой части ей одной к Дефендовым пути не найти, она повернулась назад. Потом она вспомнила, что дело—ран-

нее и Лиза все равно в школе. Она порядком вымокла и продрогла. Погода разгуливалась. Но еще не прояснило. По улице летал и листом приставал к мокрым плитам холодный белый блеск. Мутные тучи торопились вон из города, теснясь и ветрено, панически волнуясь в конце площади, за трехруким фонарем.

Переезжавший был, верно, человек неряшливый или без правил. Принадлежности небогатого кабинета были не погружены, а просто поставлены на полок, как стояли в комнате, и колесца кресел, глядевшие из-под белых чехлов, ездили по полку, как по паркету, при всяком сотрясении воза. Чехлы были белоснежны, несмотря на то, что были промочены до последней нитки. Они так резко бросались в глаза, что при взгляде на них одного цвета становились: обглоданный непогодой булыжник, продроглая подзаборная вода, птицы, летевшие с конных дворов, летевшие за ними деревья, обрывки свинца и даже тот фикус в кадушке, который колыхался, нескладно кланяясь с телеги всем пролетавшим.

Воз был дик. Он невольно останавливал на себе внимание. Мужик шел рядом, и полок, широко кренясь, подвигался шагом и задевал за тумбы. А надо всем каркающим лоскутом носилось мокрое и свинцовое слово: г о р о д, порождая в голове у девочки множество представлений, которые были мимолетны, как летавший по улице и падавший в воду октябрьский холодный блеск.

„Он простудится, только разложит вещи“,—подумала она про неизвестного владельца. И она представила себе человека,—ч е л о в е к а в о о б щ е, в а л к о й, н а ш а г и р а з р о з н е н н о й п о х о д к о й расставляющего свои пожитки по углам. Она живо представила себе его ухватки и движения, в особенности то, как он возьмет тряпку и, ковыляя вокруг кадки, станет обтирать затуманенные изморосью листья фикуса. А потом схватит насморк, озноб и жар. Непременно схватит. Женя и это представила очень живо себе. Очень живо. Воз загромыхал под гору к Исети. Жене было налево.

Это происходило, верно, от чьих-то тяжелых шагов за дверью. Подымался и опускался чай в стакане, на столике у кровати. Подымался и опускался ломтик лимона в чаю. Ка-

чались солнечные полосы на обоях. Они качались столбами, как колонки с сиропом в лавках за вывесками, на которых турок курит трубку. На которых турка... курит... трубку. Курит... трубку.

Это происходило, верно, от чьих-то шагов. Больная опять заснула.

Женя слегла на другой день после отъезда Негарата; в тот самый день, когда узнала после прогулки, что ночью Аксинья родила мальчика; в тот день, когда при виде воза с мебелью она решила, что собственника подстерегает ревматизм. Она провела две недели в жару, густо по поту обсыпанная трудным красным перцем, который жег и слипал ей веки и краешки губ. Ее донимала испарина, и чувство безобразной толстоты мешалось с ощущеньем укуса. Будто пламя, раздувшее ее, было в нее влито летней осой. Будто тонкое, в седой волосок, ее жальце осталось в ней, и его хотелось вынуть, не раз и по-разному: то из лиловой скулы, то из охавшего под рубашкой воспламененного плеча, то еще откуда.

Теперь она выздоравливала. Чувство слабости сказывалось во всем. Чувство слабости, например, предавалось, на свой риск и страх, какой-то странной, *своей* геометрии. От нее слегка кружило и поташнивало.

Начав, например, с какого-нибудь эпизода на одеяле, чувство слабости принималось наслаивать на него ряды постепенно росших пустот, скоро становившихся неимоверными в стремлении сумерок принять форму площади, ложащейся в основанье этого помешательства пространства. Или, отделясь от узора на обоях, оно, полосу к полосе, прогоняло перед девочкой широты плавно, как на масле, сменявшие друг друга, и тоже, как все эти ощущения, истомлявшие правильным, постепенным приростом в размерах. Или оно мучило больную глубинами, которые спускались без конца, выдав с самого же начала, с первой штуки в паркете свою бездонность, и пускало кровать ко дну тихо-тихо; и с кроватью — девочку. Ее голова попадала в положение куска сахара, брошенного в пучину пресного, потрясающе пустого хаоса, и растворялась и расструивалась в нем.

Это происходило от повышенной чувствительности ушных лабиринтов.

Это происходило от чьих-то шагов. Опускался и подымался лимон. Подымалось и опускалось солнце на обоях.

Наконец она проснулась. Вошла мать и, поздравив ее с выздоровлением, произвела на девочку впечатление читающего в чужих мыслях. Просыпаясь, она уже слышала что-то подобное. Это было поздравление ее собственных рук и ног, локтей и коленок, которое она от них, потягиваясь, принимала. Их-то приветствие и разбудило ее. Вот и мама тоже. Совпадение было странно.

Домашние входили и выходили, садились и подымались. Она задавала вопросы и получала ответы. Были вещи, переменившиеся за ее болезнь, были оставшиеся без перемены. Этих она не трогала, тех не оставляла в покое. Повидимому, не изменилась мама. Совсем не изменился отец. Изменились: она сама, Сережа, распределение света по комнате, тишина всех остальных, еще что-то, много чего. Выпал ли снег? Нет, перепадал, таял, подмораживало, не разберешь что, голо, бесснежье. Она едва замечала, кого о чем расспрашивает. Ответы бросались наперебой.

Здоровые приходили и уходили. Пришла Лиза. Препирались. Потом вспомнили, что корь не повторяется, и впустили. Побывал Диких. Она едва замечала, от кого какие идут ответы.

Когда все вышли обедать и она осталась одна с Ульяшей, она вспомнила, как рассмеялись все тогда на кухне глупому ее вопросу. Теперь она остереглась задавать подобный. Она задавала умный и дельный, тоном взрослой. Она спросила, не беременна ли опять Аксинья. Девушка звякнула ложечкой, убирая стакан, и отвернулась.

— Ми-ил!.. Дай отдохнуть. Не завсе ж ей, Женечка, в один уповод...

И выбежала, плохо притворив дверь, и кухня грянула вся, будто там обвалились полки с посудой, и за хохотом последовало голошенье, и бросилось в руки поденщице и Галиму, и загорелось под руками у них, и забрякало, проворно и с задором, будто с побранок бросились драться, а потом кто-то подошел и притворил забытую дверь.

Это спрашивать не следовало. Это было еще глупее,

VII

Что это, никак опять тает? Значит, и сегодня выедут на колесах и в сани все еще нельзя закладать? С холодеющим носом и зябнущими руками Женя часами простаивала у окошка. Недавно ушел Диких. Нынче он остался недоволен ею. Изволь учиться тут, когда по дворам поют петухи и небо гудет, а когда сдает звон, петухи опять за свое берутся. Облака облезлые и грязные, как плешивая полсть. День тычется рылом в стекло, как теленок в парном стойле. Чем бы не весна? Но с обеда воздух, как обручем, перехватывает сизою стужей, небо вбирается и впадает, слышно, как, с присвистом, дышат облака; как, стремя к зимним сумеркам, на север, обрывают пролетающие часы последний лист с деревьев, выстригают газоны, колют сквозь щели, режут грудь. Дула северных недр чернеются за домами; они наведены на их двор, заряженные огромным ноябрем. Но все октябрь еще только.

Но все еще только октябрь. Такой зимы не запомнят. Говорят, погибли озими и боятся голодов. Будто кто взмахнул и обвел жезлом трубы, и кровли, и скворечницы. Там будет дым, там—снег, здесь—иней. Но нет еще ни того, ни другого. Пустынные, осунувшиеся сумерки тоскуют по них. Они напрягают глаза, землю ломит от ранних фонарей и огня в домах, как ломит голову при долгих ожиданиях от тоскливого вперенья глаз. Все напряглось и ждет, дрова разнесены уже по кухням, снегом уже вторую неделю полны тучи через край, мраком чреват воздух. Когда же он, чародей, обведший все, что видит глаз, колдовскими кругами, произнесет свое заклятие и вызовет зиму, дух которой уже при дверях?

Как же, однако, они его запустили! Правда, на календарь в классной не обращали внимания. Отрывался ее, детский. Но все же! Двадцать девятое августа! Ловко!—как сказал бы Сережа. Красная цифра. Усекновение главы Иоанна Предтечи. Он снимался легко с гвоздя. От нечего делать она занялась отрыванием листков. Она производила эти движения, скучая, и вскоре перестала понимать, что делает, но от поры до поры повторяла про себя: „Тридцатое, завтра—тридцать первое“.

— Она уже третий день никуда из дому!..

Эти слова, раздавшиеся из коридора, вывели ее из задумчивости, она увидала, как далеко зашла в своем занятии. За самое введение. Мать дотронулась до ее руки.

— Скажи на милость, Женя...

Дальнейшее пропало, как не сказанное. Матери вперебой, словно со сна, дочь попросила госпожу Люверс произнести: „Усекновение главы Иоанна Предтечи". Мать повторила, недоумевая. Она не сказала: „Предтеича". Так говорила Аксинья.

В следующую же минуту Женю взяло диво на самоё себя. Что это было такое? Кто подтолкнул? Откуда взялось? Это она, Женя, спросила? Или могла она подумать, чтоб мама?.. Как сказочно и неправдоподобно! Кто сочинил?..

А мать все стояла. Она ушам не верила. Она глядела на нее широко раскрытыми глазами. Эта выходка поставила ее в тупик. Вопрос походил на издевку; между тем в глазах у дочки стояли слезы.

Смутные ее предчувствия сбылись. На прогулке она ясно слышала, как смягчается воздух, как мякнут тучи и мягчеет чок подков. Еще не зажигали, когда в воздухе стали, виясь, блуждать сухие серенькие пушинки. Но не успели они выехать за мост, как отдельных снежинок не стало и повалил сплошной, сплывшийся лепень. Давлетша слез с козел и поднял кожаный верх. Жене с Сережей стало темно и тесно. Ей захотелось бесноваться на манер беснующейся вокруг непогоды. Они заметили, что Давлетша везет их домой, только потому, что опять услышали мост под Выкормышем. Улицы стали неузнаваемы; улиц просто не стало. Сразу наступила ночь, и город, обезумев, зашевелил несметными тысячами толстых побелевших губ. Сережа подался наружу и, упершись в колено, приказал везти к ремесленному. Женя замерла от восхищения, узнав все тайны и прелести зимы в том, как прозвучали на воздухе Сережины слова. Давлетша кричал в ответ, что домой ехать надо, чтобы не замучить лошади, господа собираются в театр, придется перекладать в сани. Женя вспомнила, что родители уедут и они останутся одни. Она решила усесться до поздней ночи поудобней за лампой с тем томом „Сказок Кота-Мурлыки", что не для детей. Надо

будет взять в маминой спальне. И шоколаду. И читать, посасывая, и слушать, как будет заметать улицы.

А мело уже, и не на шутку, и сейчас. Небо тряслось, и с него валились белые царства и края, им не было счета, и они были таинственны и ужасны. Было ясно, что эти, неведомо откуда падавшие, страны никогда не слышали про жизнь и про землю и, полуночные, слепые, засыпали ее, ее не видя и не зная.

Они были упоительно ужасны, эти царства; совершенно сатанински восхитительны. Женя захлебывалась, глядя на них. А воздух шатался, хватаясь за что попало, и далеко-далеко больно-пребольно взвывали будто плетьми огретые поля. Все смешалось. Ночь ринулась на них, свирепея от низко сбившегося седого волоса, засекавшего и слепившего ее. Все поехало врозь, с визгом, не разбирая дороги. Окрик и отклик пропадали, не встретясь, гибли, занесенные вихрем на разные крыши. Мело.

Они долго топали в передней, сбивая снег с белых опухлых полушубков. А сколько воды натекло с калош на клетчатый линолеум! На столе валялось много яичной скорлупы, и перечница, вынутая из сундука, не была поставлена на место, и много перцу было просыпано на скатерть, на вытекшие желтки и в жестянку с недоеденными „серединками". Родители уже отужинали, но сидели еще в столовой, поторапливая замешкавшихся детей. Их не винили, ужинали раньше времени, собираясь в театр. Мать колебалась, не зная, ехать ли ей или нет, и сидела грустная-грустная. При взгляде на нее Женя вспомнила, что и ей ведь, собственно говоря, вовсе не весело,—она расстегнула наконец этот противный крючок,—а скорее грустно, и, войдя в столовую, она спросила, куда убрали ореховый торт. А отец взглянул на мать и сказал, что никто не неволит их и тогда лучше дома остаться.

— Нет, зачем же, поедем,—сказала мать,—надо рассеяться; ведь доктор позволил.

— Надо решить.

— А где же торт?—опять ввязалась Женя и услышала в ответ, что торт не убежит, что до торта тоже есть что кушать, что не с торта же начинать, что он в шкапу; будто она только к ним приехала и порядков их не знает.

Так сказал отец и, снова обратившись к матери, повторил:

— Надо решить.

— Решено, едем.—И грустно улыбнувшись Жене, мать пошла одеваться.

А Сережа, постукивая ложечкой по яйцу и глядя, чтобы не попасть мимо, деловито, как занятый, предупредил отца, что погода переменилась—метель, чтобы он имел это в виду, и он рассмеялся; с оттаивавшим носом у него творилось что-то неладное: он стал ерзать, доставая платок из кармана тесных форменных брюк; он высморкался, как его учил отец, „без вреда для барабанных перепонок", взялся за ложечку и, взглянув прямо на отца, румяный и умытый прогулкой, сказал:

— Как выезжать, мы видали Негаратова знакомого. Знаешь?

— Эванса?—рассеянно уронил отец.

— Мы не знаем этого человека,—горячо выпалила Женя.

— Вика!—послышалось из спальни.

Отец встал и ушел на зов. В дверях Женя столкнулась с Ульяшей, несшей к ней зажженную лампу. Вскоре рядом хлопнула соседняя. Это прошел к себе Сережа. Он был превосходен сегодня; сестра любила, когда друг Ахмедьяновых становился мальчиком, когда про него можно было сказать, что он в гимназическом к о с т ю м ч и к е.

Ходили двери. Топали в ботах. Наконец с а м и уехали.

Письмо извещало, что она „дононь не была недотыкой, и чтоб, как и допрежь, просили, чего надоть"; а когда милая сестрица, увешанная поклонами и заверениями в памяти, пошла по родне распределять их поименно, Ульяша, оказавшаяся на этот раз Ульяной, поблагодарила барышню, прикрутила лампу и ушла, захватив письмо, пузырек с чернилами и остаток промасленной осьмушки.

Тогда она опять принялась за задачу. Она не заключила периода в скобки. Она продолжала деление, выписывая период за периодом. Этому не предвиделось конца. Дробь в частном росла и росла. „А вдруг корь повторяется?— мелькнуло у ней в голове.—Сегодня Диких говорил что-то про бесконечность". Она перестала понимать, что делает. Она чувствовала, что нынче днем с ней уже было что-то такое, и тоже хотелось спать или плакать, но сообразить, когда это

было и что именно,—не могла, потому что соображать была не в силах. Шум за окном утихал. Метель постепенно унималась. Десятичные дроби были ей в полную новинку. Справа не хватало полей. Она решила начать сызнова, писать мельче и поверять каждое звено. На улице стало совсем тихо. Она боялась, что забудет занятое у соседней цифры и не удержит произведения в уме. „Окно не убежит,—подумала она, продолжая лить тройки и семерки в бездонное частное,—а их я во-время услышу: кругом тишина; подымутся не скоро: в шубах, и мама беременна; но вот в чем штука; 3773 повторяется, можно просто переписывать или сводить?" Вдруг она припомнила, что Диких ведь и впрямь говорил ей нынче, что „не надо делать, а просто бросать прочь их". Она встала и подошла к окну.

На дворе прояснилось. Редкие хлопья приплывали из черной ночи. Они подплывали к уличному фонарю, оплывали его и, вильнув, пропадали из глаз. На их место подплывали новые. Улица блистала, устланная снежным, санным ковром. Он был бел, сиятелен и сладостен, как пряники в сказках. Женя постояла у окна, заглядевшись на те кольца и фигуры, которые выделывали у фонаря андерсеновские серебристые снежинки. Постояла-постояла и пошла в мамину комнату за „Котом". Она вошла без огня. Было видно и так. Кровля сарая обдавала комнату движущимся сверканием. Кровати леденели под вздохом этой громадной крыши и поблескивали. Здесь лежал в беспорядке разбросанный дымчатый шелк. Крошечные блузки издавали гнетущий и теснящий запах подмышников и коленкора. Пахло фиалкой, и шкап был иссиня-черен, как ночь на дворе и как тот сухой и теплый мрак, в котором двигались эти леденеющие блистания. Одинокою бусиной сверкал металлический шар кровати. Другой был угашен наброшенной рубашкой. Женя прищурила глаза, бусина отделилась от полу и поплыла к гардеробу. Женя вспомнила, зачем пришла. С книжкой в руках она подошла к одному из окон спальни. Ночь была звездная. В Екатеринбурге наступила зима. Она взглянула во двор и стала думать о Пушкине. Она решила попросить репетитора, чтобы он ей задал сочинение об Онегине.

Сереже хотелось поболтать. Он спросил:

— Ты надушилась? Дай и мне.

Он был очень мил весь день. Очень румян. Она же подумала, что другого такого вечера, может, не будет. Ей хотелось остаться одной.

Женя воротилась к себе и взялась за „Сказки". Она прочла повесть и принялась за другую, затая дыхание. Она увлеклась и не слыхала, как за стеной укладывался брат. Странная игра овладела ее лицом. Она ее не сознавала. То оно у ней расплывалось по-рыбьему; она вешала губу, и помертвелые зрачки, прикованные ужасом к странице, отказывались подняться, боясь найти это самое за комодом. То вдруг принималась она кивать печати, сочувственно, словно одобряя ее, как одобряют поступок и как радуются обороту дел. Она замедляла чтение над описаниями озер и бросалась сломя голову в гущу ночных сцен с куском обгорающего бенгальского огня, от которого зависело их освещение. В одном месте заблудившийся кричал с перерывами, вслушиваясь, не будет ли отклика, и слышал отклик-эхо. Жене пришлось откашляться с немого надсада гортани. Нерусское имя „Мирры" вывело ее из оцепенения. Она отложила книгу в сторону и задумалась. „Вот какая зима в Азии! Что теперь делают китайцы в такую темную ночь?" Взгляд Жени упал на часы. „Как, верно, жутко должно быть с китайцами в такие потемки". Женя опять перевела взгляд на часы и ужаснулась. С минуты на минуту могли явиться родители. Был уже двенадцатый час. Она расшнуровала ботинки и вспомнила, что надо отнести на место книжку.

Женя вскочила. Она присела на кровати, таращa глаза. Это—не вор. Их много, и они топочут и говорят громко, как днем. Вдруг, как зарезанный, кто-то закричал на-голос, и что-то поволокли, опрокидывая стулья. Это кричала женщина. Женя понемногу признала всех; всех, кроме женщины. Поднялась неимоверная беготня. Стали хлопать двери. Когда захлопывалась одна дальняя, то казалось, что женщине закрывают рот. Но она снова распахивалась, и дом ошпаривало жгучим полосующим визгом. Волосы встали дыбом у Жени: женщина была мать; она догадалась. Причитала Ульяша, и, раз уловив голос отца, она его более не слыхала. Куда-то

вталкивали Сережу, и он орал: „Не сметь на ключ!“ „Все— свои“,—и как была, Женя босиком, в одной рубашонке бросилась в коридор. Отец чуть не опрокинул ее. Он был еще в пальто и что-то, пробегая, кричал Ульяше.

— Папа!

Она видела, как побежал он назад с мраморным кувшином из ванной.

— Папа!

— Где Липа?—не своим голосом крикнул он на бегу.

Плеща на пол, он скрылся за дверью, и когда через мгновенье высунулся в манжетах и без пиджака, Женя очутилась на руках у Ульяши и не услышала слов, произнесенных тем отчаянно глубоким, истошным шопотом.

— Что с мамой?

Вместо ответа Ульяша твердила в одно:

— Нельзя, Женечка, нельзя, милая, спи, усни, укройся, ляжь на бочек. А-ах, о господи!.. ми-ил! Нельзя, нельзя,— приговаривала она, укрывая ее, как маленькую, и собираясь уйти.

„Нельзя, нельзя“, а чего нельзя—не говорила, и лицо у ней было мокро, и волосы растрепались. В третьей двери за ней щелкнул замок.

Женя зажгла спичку, чтобы посмотреть, скоро ли светать будет. Был первый всего час. Это ее очень удивило. Неужто она и часу не спала? А шум не унимался там, на родительской половине. Вопли лопались, вылупливались, стреляли. Потом на короткое мгновение наступала широкая, вековечная тишина. В нее упадали торопливые шаги и частый, осторожный говор. Потом раздался звонок, потом другой. Потом слов, споров и приказаний стало так много, что стало казаться, будто комнаты отгорают там в голосах, как столы под тысячей угасших канделябров.

Женя заснула. Она заснула в слезах. Ей снилось, что— гости. Она считает их и все обсчитывается. Всякий раз выходит, что одним больше. И всякий раз при этой ошибке ее охватывает тот самый ужас, как когда она поняла, что это не еще кто, а мама.

Как было не порадоваться чистому и ясному утру! Сереже мерещились игры на дворе, снежки, сражения с дворовыми

ребятами. Чай им подали в классную. Сказали—в столовой полотеры. Вошел отец. Сразу стало видно, что о полотерах он ничего не знает. Он и точно не знал о них ничего. Он сказал им истинную причину перемещения. Мать захворала. Нуждается в тишине.

Над белой пеленой улицы с вольным разносчивым карканьем пролетели вороны. Мимо пробежали санки, подталкивая лошадку. Она еще не свыклась с новой упряжкой и сбивалась с шагу.

— Ты поедешь к Дефендовым, я уже распорядился. А ты...

— Зачем?—перебила его Женя.

Но Сережа догадался—зачем, и предупредил отца.

— Чтоб не заразиться...—вразумил он сестру.

Но с улицы не дали ему кончить. Он подбежал к окошку, будто его туда поманули. Татарин, вышедший в обнове, был казист и наряден, как фазан. На нем была баранья шапка. Нагольная овчина горела жарче сафьяна. Он шел с перевалкой, покачиваясь, и оттого, верно, что малиновая роспись его белых пим ничего не ведала о строеньи человеческой ступни: так вольно разбежались эти разводы, мало заботясь о том, ноги ли то, или чайные чашки, или крыльцовые кровельки. Но всего замечательнее,—в это время стоны, слабо доносившиеся из спальни, усилились, и отец вышел в коридор, запретив им следовать за собою,—но всего замечательнее были следки, которые он узенькой и чистой низкою вывел по углаженной полянке. От них, лепных и опрятных, еще белей и атласней казался снег.

— Вот письмецо. Ты отдашь его Дефендову. Самому. Понимаешь? Ну, одевайтесь. Вам сейчас сюда принесут. Вы выйдете с черного хода. А тебя Ахмедьяновы ждут.

— Уж и ждут?—насмешливо переспросил сын.

— Да. Вы оденетесь в кухне.

Он говорил рассеянно, и не спеша проводил их на кухню, где на табурете горой лежали их полушубки, шапки и варежки. С лестницы подвевало зимним воздухом. „Эйиох!“—остался в воздухе студеный вскрик пронесшихся санков. Они торопились и не попадали в рукава. От вещей пахло сундуками и сонным мехом.

— Чего ты возишься?

— Не ставь с краю. Упанет. Ну, что?

— Все стонет,—горничная подобрала передник и, нагнувшись, подбросила поленьев под пламенем ахнувшую плиту.— Не мое это дело,—возмутилась она и опять ушла в комнаты.

В худом черном ведре валялось битое стекло и желтелись рецепты. Полотенца были пропитаны лохматой, комканой кровью. Они полыхали. Их хотелось затоптать, как пыхающее тление. В кастрюлях кипятилась пустая вода. Кругом стояли белые чаши и ступы невиданных форм, как в аптеке.

В сенях маленький Галим колол лед.

— А много его с лета осталось?—расспрашивал Сережа.

— Скоро новый будет.

— Дай мне. Ты зря крошишь.

— Для ча зря? Талчи надо. В бутылкам талчи.

— Ну! Ты готова?

Но Женя еще сбегала в комнаты. Сережа вышел на лестницу и в ожидании сестры стал барабанить поленом по железным перилам.

VIII

У Дефендовых садились ужинать. Бабушка, крестясь, колтыхнулась в кресло. Лампа горела мутно и покапчивала; ее то перекручивали, то чересчур отпускали. Сухая рука Дефендова часто тянулась к винту, и когда, медленно отымая ее от лампы, он медленно опускался на место, рука у него тряслась меленько и не по-старчески, будто он подымал налитую через край рюмку. Дрожали концы пальцев, к ногтям. Он говорил отчетливым, ровным голосом, словно не из звуков складывал свою речь, а набирал ее из букв и произносил все, вплоть до твердого знака.

Припухлое горлышко лампы пылало, обложенное усиками герани и гелиотропа. К жару стекла сбегались тараканы, и осторожно тянулись часовые стрелки. Время ползло позимнему. Здесь оно нарывало. На дворе—коченело, зловонное. За окном—сновало, семенило, двоясь и троясь в огоньках.

Дефендова поставила на стол печонку. Блюдо дымилось, заправленное луком. Дефендов что-то говорил, повторяя часто слово „рекомендую“, и Лиза трещала без умолку, но Женя их не слышала. Девочке хотелось плакать еще со вчерашнего

дня. А теперь ей этого жаждалось. В этой вот кофточке, шитой по материнским указаниям.

Дефендов понимал, что с ней. Он старался развлечь ее. Но то заговаривал он с ней как с малым дитятей, то ударялся в противоположную крайность. Его шутливые вопросы пугали и смущали ее. Это он ощупывал впотьмах душу дочкиной подруги, словно спрашивал у ее сердца, сколько ему лет. Он вознамерился, уловив безошибочно одну какуюнибудь Женину черту, сыграть на подмеченном и помочь ребенку забыть о доме, и своими поисками напомнил ей, что она у чужих.

Вдруг она не выдержала и, встав, по-детски смущаясь, пробормотала:

— Спасибо. Я, правда, сыта. Можно посмотреть картинки?—И, густо краснея при виде всеобщего недоумения, прибавила, мотнув головой в сторону смежной комнаты:— Вальтер Скотта. Можно?

— Ступай, ступай, душенька!—зажевала бабушка, бровями приковывая Лизу к месту.

— Жалко дитя,—обратилась она к сыну, когда половинки бордовой портьеры сошлись за Женею.

Суровый комплект „Севера" кренил этажерку, и внизу тускло золотился полный Карамзин. С потолка спускался розовый фонарь, оставлявший неосвещенною пару потертых креслиц, и коврик, пропадавший в совершенном мраке, был неожиданностью для ступни.

Жене казалось, что она войдет, сядет и разрыдается. Но слезы навертывались на глаза, а печали не прорывали. Как отвалить ей эту со вчерашнего дня балкой залегшую тоску? Слезы неймут ее и поднять запруды не в силах. В помощь им она стала думать о матери.

В первый раз в жизни, готовясь заночевать у чужих, она измерила глубину своей привязанности к этому дорогому, драгоценнейшему в мире существу.

Вдруг она услышала за портьерой хохот Лизы.

— У, егоза, пострел тебя!..—кашляя, колыхала бабушка.

Женя поразилась, как могла она раньше думать, что любит девочку, смех которой раздается рядом и так далек, так ненужен ей. И что-то в ней перевернулось, дав волю слезам

в тот самый миг, как мать вышла у ней в воспоминаниях: страдающей, оставшейся стоять в веренице вчерашних фактов, как в толпе провожающих, и крутимой там, позади, поездом времени, уносящим Женю.

Но совершенно, совершенно несносен был тот проникновенный взгляд, который остановила на ней госпожа Люверс вчера в классной. Он врезался в память и из нее не шел. С ним соединялось все, что теперь испытывала Женя. Будто это была вещь, которую следовало взять, дорожа ей, и которую забыли, ею пренебрегнув.

Можно было голову потерять от этого чувства, до такой степени кружила пьяная, шалая его горечь и безысходность. Женя стояла у окна и плакала беззвучно; слезы текли, и она их не утирала: руки у ней были заняты, хотя она ничего в них не держала. Они были у ней выпрямлены энергически, порывисто и упрямо.

Внезапная мысль осенила ее. Она вдруг почувствовала, что страшно похожа на маму. Это чувство соединилось с ощущением живой безошибочности, властной сделать домысел фактом, если этого нет еще налицо, уподобить ее матери одною силой потрясающе-сладкого состояния. Чувство это было пронизывающее, острое до стона. Это было ощущение женщины, изнутри или внутренно видящей свою внешность и прелесть. Женя не могла отдать себе в нем отчета. Она его испытывала впервые. В одном она не ошиблась. Так, взволнованная, отвернувшись от дочери и гувернантки, стояла однажды у окна госпожа Люверс и кусала губы, ударяя лорнеткою по лайковой ладони.

Она вышла к Дефендовым, пьяная от слез и просветленная, и вошла не своей, изменившейся походкой, широкой, мечтательно разбросанной и новой. При виде вошедшей Дефендов почувствовал, что то понятие о девочке, которое у него составилось в ее отсутствие, никуда не годно. И он занялся бы составлением нового, если бы не самовар.

Дефендова пошла на кухню за подносом, оставив его на полу, и взоры всех сошлись на пыхавшей меди, будто это была живая вещь, бедовое своенравие которой кончилось в ту самую минуту, как ее переставляли на стол. Женя заняла свое место. Она решила вступить в беседу со всеми.

Она смутно чувствовала, что теперь выбор разговора за ней. А то ее будут утверждать в ее прежнем одиночестве, не видя, что ее мама тут, с нею и в ней самой. А эта близорукость причинит боль ей, а главное—маме. И словно подбодряемая последней,—„Васса Васильевна!“—обратилась она к Дефендовой, тяжело опустившей самовар на краешек подноса...

— Можешь ты рожать?

Лиза не сразу ответила Жене.

— Тсс, тише, не кричи. Ну да, как все девочки.—Она говорила прерывистым шопотом.

Женя не видела лица подруги. Лиза шарила по столу и не находила спичек.

Она знала многим больше Жени насчет этого; она знала все, как знают дети, узнавая это с чужих слов. В таких случаях те натуры, которые облюбованы творцом, восстают, возмущаются и дичают. Без патологии им через это испытание не пройти. Было бы противоестественно обратное, и детское сумасшествие в эту пору—только печать глубокой исправности.

Однажды Лизе наговорили разных страстей и гадостей шопотом, в уголку. Она не поперхнулась слышанным, пронесла все в своем мозгу по улице и принесла домой. Дорогой она не обронила ничего из сказанного, и весь этот хлам сохранила. Она узнала все. Ее организм не запылал, сердце не забило тревогой, и душа не нанесла побоев мозгу за то, что он осмелился что-то узнать на стороне, мимо ее, не из ее собственных уст, ее души, не спросясь.

— Я знаю. („Ничего ты не знаешь“,—подумала Лиза.) Я знаю,—повторила Женя,—я не про то спрашиваю. А про то, чувствуешь ли ты, что вот сделаешь шаг—и родишь вдруг, ну вот...

— Да войди ты!—прохрипела Лиза, превозмогая смех.— Нашла где орать. Ведь с порога слыхать им!

Этот разговор происходил у Лизы в комнате. Лиза говорила так тихо, что было слышно, как каплет с рукомойника. Она нашла уже спички, но еще медлила зажигать, не будучи в силах придать серьезность расходившимся щекам.

Ей не хотелось обижать подругу. А ее неведение она пощадила потому, что и не подозревала, чтобы об этом можно было рассказать иначе, чем в тех выражениях, которые тут, дома, перед знакомой, не ходившей в школу, были не произносимы. Она зажгла лампу. По счастью, ведро оказалось переполнено, и Лиза бросилась подтирать пол, пряча новый приступ хохота в передник, в шлепанье тряпки, и наконец расхохоталась открыто, нашедши повод: она уронила гребенку в ведро.

Все эти дни она только и знала, что думала о своих и ждала часа, когда за ней пришлют. А за этим делом, днем, когда Лиза уходила в гимназию, а в доме оставалась одна бабушка, Женя тоже одевалась и одна выходила на улицу, в проходку.

Жизнь слободы мало чем походила на жизнь тех мест, где проживали Люверсы. Бо̀льшую часть дня здесь было голо и скучно. Не на чем было разгуляться глазу. Все, что ни встречал он, ни на что, кроме разве как на розгу или на помело, не годилось. Валялся уголь. Черные помои выливались на улицу и разом обелялись, обледенев. В известные часы улица наполнялась простым народом. Фабричные расползались по снегу, как тараканы. Ходили на блоках двери чайных, и оттуда валом валил мыльный пар, как из прачечной. Странно, будто теплей становилось на улице, будто к весне оборачивалось дело, когда по ней сутуло пробегали пареные рубахи и мелькали валенки на жиденьких портах. Голуби не пугались этих толп. Они перелетали на дорогу, где тоже был корм. Мало ли сорено было по снегу просом, овсом и навозцем? Ларек пирожницы лоснился от сала и тепла. Этот лоск и жар попадали в сивухою сполоснутые рты. Сало разгорячало гортани. И потом вырывалось дорогой из часто дышавших грудей. Не это ли согревало улицу?

Так же внезапно она пустела. Наступали сумерки. Проезжали дровни порожняком, пробегали розвальни с бородачами, тонувшими в шубах, которые, шаля, валили их на спину, облапив по-медвежьи. От них на дороге оставались клоки тоскливого сена и медленное, сладкое таянье удаляющегося

колокольца. Купцы пропадали на повороте, за березками, отсюда походившими на раздерганный частокол.

Сюда слеталось то воронье, которое, раздольно каркая, проносилось над их домом. Только тут они не каркали. Тут, подняв крик и задрав крылья, они вприпрыжку рассаживались по заборам и потом, вдруг, словно по знаку, тучею кидались разбирать деревья и, толкаясь, размещались по опростанным сукам. Ах, как чувствовалось тогда, какой поздний-поздний час на всем белом свете! Так,—ах, так, как этого не выразить никаким часам!

Так прошла неделя, и к концу другой, в четверг, на рассвете она опять его увидала. Лизина постель была пуста. Просыпаясь, Женя слышала, как за ней брякнула калитка. Она встала и, не зажигая огня, подошла к окошку. Было еще совершенно темно. Но чувствовалось, что в небе, в ветках деревьев и в движениях собак та же тяжесть, что и накануне. Эта пасмурная погода стояла уже третьи сутки, и не было сил стащить ее с обрыхлевшей улицы, как чугун с корявой половицы.

В окошке через дорогу горела лампа. Две яркие полосы, упав под лошадь, ложились на мохнатые бабки. Двигались тени по снегу, двигались рукава призрака, запахивавшего шубу, двигался свет в занавешенном окне. Лошадка же стояла неподвижно и дремала.

Тогда она увидала его. Она сразу его узнала по силуэту. Хромой поднял лампу и стал удаляться с ней. За ним двинулись, перекашиваясь и удлиняясь, обе яркие полосы, а за полосами и сани, которые быстро вспыхнули и еще быстрее метнулись во мрак, медленно заезжая за дом к крыльцу.

Было странно, что Цветков продолжает попадаться ей на глаза и здесь, в слободе. Но Женю это не удивило. Он ее мало занимал. Вскоре лампа опять показалась и, плавно пройдясь по всем занавескам, стала было снова пятиться назад, как вдруг очутилась за самой занавеской, на подоконнике, откуда ее взяли.

Это было в четверг. А в пятницу за ней наконец прислали.

IX

Когда на десятый день по возвращении домой, после более чем трехнедельного перерыва, были возобновлены занятия, Женя узнала от репетитора все остальное. После обеда сложился и уехал доктор, и она попросила его кланяться дому, в котором он ее осматривал весной, и всем улицам, и Каме. Он выразил надежду, что больше его из Перми выписывать не придется. Она проводила до ворот человека, который привел ее в такое содрогание в первое же утро ее переезда от Дефендовых, пока мама спала и к ней не пускали, когда на ее вопрос о том, чем она больна, он начал с напоминания, что в ту ночь родители были в театре. А как по окончании спектакля стали выходить, то их жеребец...

— Выкормыш?!

— Да, если это его прозвище... Так Выкормыш, стало быть, стал биться, вздыбился, сбил и подмял под себя случайного прохожего и...

— Как? На-смерть?

— Увы!

— А мама?

— А мама заболела нервным расстройством,—и он улыбнулся, едва успев приспособить в таком виде для девочки свое латинское „partus praematurus".

— И тогда родился мертвый братец?!

— Кто вам сказал?.. Да.

— А когда? При них? Или они застали его уже бездыханным? Не отвечайте. Ах, какой ужас! Я теперь понимаю. Он был уже мертв, а то бы я его услышала и без них. Ведь я читала. До поздней ночи. Я бы услышала. Но когда же он жил? Доктор, разве бывают такие вещи? Я даже заходила в спальню! Он был мертв. Несомненно!

Какое счастье, что это наблюдение от Дефендовых, на рассвете, было только вчера, а ужасу у театра—третья неделя! Какое счастье, что она его узнала! Ей смутно думалось, что, не попадись он ей на глаза за весь этот срок, она теперь, после докторовых слов, непременно бы решила, что у театра задавлен хромой.

И вот, прогостив у них столько времени и став совершенно своим, доктор уехал. А вечером пришел репетитор.

Днем была стирка. На кухне катали белье. Иней сошел с ее рам, и сад стал вплотную к окнам и, запутавшись в кружевных гардинах, подступил к самому столу. В разговор врывались короткие погромыхиванья валька. Диких тоже, как все, нашел ее изменившейся. Перемену заметила в нем и она.

— Отчего вы такой грустный?

— Разве? Все может быть. Я потерял друга.

— И у вас тоже горе? Сколько смертей—и все вдруг!—вздохнула она.

Но только собрался он рассказывать, что имел, как произошло что-то необъяснимое. Девочка внезапно стала других мыслей об их количестве и, видно, забыв какою опорой располагала в виденной в то утро лампе, сказала взволнованно:

— Погодите. Раз как-то вы были у табачника, уезжал Негарат; я вас видала еще с кем-то. Этот?—Она боялась сказать: „Цветков?"

Диких оторопел, услыхав, как были произнесены эти слова, привел помянутое на память и припомнил, что действительно они заходили тогда за бумагой и спросили всего Тургенева для госпожи Люверс; и точно, вдвоем с покойным. Она дрогнула, и у ней выступили слезы. Но главное было еще впереди.

Когда, рассказав с перерывами, в которые слышался рубчатый грохот скалки, что это был за юноша и из какой хорошей семьи, Диких закурил, Женя с ужасом поняла, что только эта затяжка отделяет репетитора от повторения докторова рассказа, и когда он сделал попытку и произнес несколько слов, среди которых было слово „театр", Женя вскрикнула не своим голосом и бросилась вон из комнаты.

Диких прислушался. Кроме катки белья, в доме не было слышно ни звука. Он встал, похожий на аиста. Вытянул шею и приподнял ногу, готовый броситься на помощь. Он кинулся отыскивать девочку, решив, что никого нет дома, а она лишилась чувств. А тем временем, как он тыкался впотьмах на загадки из дерева, шерсти и металла, Женя сидела в уголочке и плакала. Он же продолжал шарить и ощупывать, в мыслях уже подымая ее замертво с ковра. Он вздрогнул, когда за его локтями раздалось громко, сквозь всхлипывание:

— Я тут. Осторожней, там горка. Подождите меня в классной. Я сейчас приду.

Гардины опускались до полу, и до полу свешивалась зимняя звездная ночь за окном, и низко, по пояс в сугробах, волоча сверкающие цепи ветвей по глубокому снегу, брели дремучие деревья на ясный огонек в окне. И где-то за стеной, туго стянутый простынями, взад-вперед ходил твердый грохот раскатки. „Чем объяснить этот избыток чувствительности?—размышлял репетитор.—Очевидно, покойный был у девочки на особом счету. Она очень изменилась. Периодические дроби объяснялись еще ребенку, между тем как та, что послала его сейчас в классную... И это дело месяца! Очевидно, покойный произвел когда-то на эту маленькую женщину особо глубокое и неизгладимое впечатление. У впечатлений этого рода есть имя. Как странно! Он давал ей уроки каждый другой день и ничего не заметил. Она страшно славная, и ее ужасно жаль. Но когда же она выплачется и придет наконец! Верно, все прочие в гостях. Ее жалко от души. Замечательная ночь!“

Он ошибался. То впечатление, которое он предположил, к делу нисколько не шло. Он не ошибся. Впечатление, скрывавшееся за всем, было неизгладимо. Оно отличалось большею, чем он думал, глубиной... Оно лежало вне ведения девочки, потому что было жизненно важно и значительно, и значение его заключалось в том, что в ее жизнь впервые вошел другой человек, третье лицо, совершенно безразличное, без имени или со случайным, не вызывающее ненависти и не вселяющее любви, но то, которое имеют в виду заповеди, обращаясь к именам и сознаниям, когда говорят: не убий, не крадь и все прочее. „Не делай ты, особенный и живой,—говорят они,—этому, туманному и общему, того, чего себе, особенному и живому, не желаешь“. Всего грубее заблуждался Диких, думавши, что есть имя у впечатлений такого рода. Его у них нет.

А плакала Женя оттого, что считала себя во всем виноватой. Ведь ввела его в жизнь семьи она в тот день, когда, заметив его за чужим садом, и заметив без нужды, без пользы, без смысла, стала затем встречать его на каждом шагу, по-

стоянно, прямо и косвенно, и даже, как это случилось в последний раз, наперекор возможности.

Когда она увидала, какую книгу берет Диких с полки, она нахмурилась и заявила:

— Нет. Этого я сегодня отвечать не стану. Положите на место. Виновата: пожалуйста.

И без дальних слов Лермонтов был тою же рукой втиснут назад в покосившийся рядок классиков.

1918

Апеллесова черта

...Передают, будто греческий художник Апеллес, не застав однажды дома своего соперника Зевксиса, провел черту на стене, по которой Зевксис догадался, какой гость был у него в его отсутствие. Зевксис в долгу не остался. Он выбрал время, когда заведомо знал, что Апеллеса дома не застанет, и ставил свой знак, ставший притчей художества.

I

В один из сентябрьских вечеров, когда пизанская косая башня ведет целое войско косых зарев и косых теней приступом на Пизу, когда от всей, вечерним ветром раззуженной Тосканы пахнет, как от потертого меж пальцев лаврового листа, в один из таких вечеров,—ба, да я ведь точно помню число то: 23 августа, вечером,—Эмилио Релинквимини, не застав Гейне в гостинице, потребовал у подобострастно расшаркивающегося лакея бумаги и огня. Когда тот, сверх просимого, явился еще с чернилами, с ручкой, палочкой сургуча и печаткою, Релинквимини брезгливым жестом отстранил его услуги. Вынув из галстука булавку, он раскалил ее на свече, кольнул себя в палец и, выхватив карточку с фирмой трактирщика из целой стопки ей подобных, загнул ее с краю уколотым пальцем. Затем он протянул ее безразлично предупредительному лакею со словами:

— Передайте г-ну Гейне эту визитную карточку. Завтра, в эти же часы я повторю свое посещение.

Пизанская косая башня прорвалась сквозь цепь средневековых укреплений. На улице число людей, видавших ее

с моста, ежеминутно возрастало. Зарева, как партизаны, ползли по площадям. Улицы запружались опрокинутыми тенями, иные еще рубились в тесных проходах. Пизанская башня косила наотмашь, без разбору, пока одна шальная исполинская тень не прошлась по солнцу... День оборвался.

Но лакей, вкратце и сбивчиво осведомляя Гейне о недавнем посещении, все же успел за несколько мгновений до полного захода солнца вручить нетерпеливому постояльцу карточку с побуревшим, запекшимся пятном.

„Вот оригинал!" Но Гейне тотчас же догадался об истинном имени посетителя, автора знаменитой поэмы „Il Sangue".

Та случайность, по которой феррарец Релинквимини оказался в Пизе как раз в те дни, когда еще более случайная прихоть путешествующего поэта занесла сюда его самого, вестфальца Гейне,—случайность эта не показалась ему странной. Он вспомнил об анониме, от которого получил на-днях небрежно написанное, вызывающее письмо. Претензии неизвестного выходили из границ дозволенного. Как-то вскользь и туманно пройдясь насчет племенных и кровных корней поэзии, неизвестный требовал от Гейне... Апеллесова удостоверения личности.

„Любовь,—писал аноним,—кровавое это облако, которым сплошь застилается порою вся наша безоблачная кровь,—скажите о ней так, чтобы очерк ваш не превышал лаконизма черты Апеллесовой. Помните, только о принадлежности вашей к аристократии крови и духа (эти понятия неразрывны),—вот о чем единственно любопытствует Зевксис.

P. S. Я воспользовался вашим пребыванием в Пизе, о чем был своевременно извещен моим издателем Конти, чтобы раз навсегда покончить с терзавшим меня сомнением. Через три дня я лично явлюсь к вам взглянуть на росчерк Апеллеса..."

Прислуга, явившаяся по зову Гейне, была облечена им следующими полномочиями:

— Я уезжаю с десятичасовым поездом в Феррару. Завтра вечером меня будет спрашивать известное уже вам лицо, предъявитель этой карточки. Вы из рук в руки передадите ему этот пакет. Прошу подать мне счет. Позовите факино.

Тем призрачным весом, коим на вид пустой пакет все-таки обладал, он был обязан тоненькой бумажной полоске,

очевидно вырезанной из какой-то рукописи. Клочок этот заключал в себе часть фразы, без начала и конца: „но Рондольфина и Энрико, свои былые имена отбросив, их сменить успели на небывалые доселе: он—„Рондольфина!“—дико вскрикнув, „Энрико!“—возопив—она“.

II

На тротуарных плитах, на асфальтированных площадях, на балконах и на набережных Арно пизанцы сожигали благовонную тосканскую ночь. От черного ее сгорания еще тяжелее дышалось в душных и без того проходах, под пыльными платанами; ко всему еще знойный, маслянистый блеск ее довершали рассыпные снопы звезд и пучки колючих туманностей. Искры эти переполняли чашу терпения итальянцев; с жарким фанатизмом произнося свои ругательства, словно бы это молитвы были, отирали они при первом же взгляде на Кассиопею грязный пот со лбов. Носовые платки мелькали впотьмах, как сотрясаемые термометры. Показания этих батистовых градусников удручающей пагубой проносились по улице: духота распространялась ими, как кем-то подхваченный слух, как поветрие, как панический ужас. И так же, как распадался без прекословия коснеющий город на кварталы, дома и дворы, так точно состоял ночной воздух из отдельных неподвижных встреч, восклицаний, ссор, кровавых столкновений, шопотов, смешков и шушуканий. Шумы эти стояли пыльным и частым плетевом над тротуарами, стояли в шеренгах, врастая в панели, точно уличные деревья, задыхающиеся и бесцветные в свете газовых фонарей. Так причудливо и властно положила пизанская ночь крепкий предел человеческой выносливости.

Тут же, об этот предел рукой подать, начинался хаос. Такой хаос царил на вокзале. Носовые платки и проклятия сходили здесь со сцены. Люди, мгновение назад почитавшие чуть что не пыткой естественное передвижение, здесь, ухватясь за чемоданы и картонки, бушевали у кассы, как угорелые набрасывались штурмом на обуглившиеся вагоны, осаждали ступеньки и, меченные сажей, как трубочисты, врывались в отделения, перегороженные горячею коричневой фанерой, которая, казалось, коробилась от жару, ругани и увесистых толчков. Вагоны

горели, горели рельсы, горели нефтяные цистерны, паровозы на запасных путях, горели сигналы и расплющенные, парами исходящие вопли далеких и близких локомотивов. Семеня своими вспышками, щекочущим насекомым засыпало на щеке машиниста и на кожаной куртке кочегара тяжкое дыханье растворенной топки: горели машинист с кочегаром. Горел часовой циферблат, горели чугунные перекаты путевых междоузлий и стрелок; горели сторожа. Все это находилось за пределами человеческой выносливости. Все это можно было снести.

Место у самого окна. В последний миг—совершенно пустой перрон из цельного камня, из цельной гулкости, из цельного восклицанья кондуктора: „Pronti"—и кондуктор пробегает мимо, вдогонку за собственным восклицанием. Плавно сторонятся станционные столбы. Огоньки снуют, скрещиваясь, как вязальные спицы. Лучи рефлекторов заскакивают в окна вагонов, подхваченные тягою, проходят насквозь, наружу, через противоположные окна, растягиваются по путям, подрагивая, оступаются о рельсы, подымаются, пропадают за сараями. Карликовые улочки, уродливые, ублюдочные закоулки. Гулко глотают их зевы виадуков. Бушеванье вплотную к шторке подступающих садов. Отдохновенная ширь курчавых, ковровых виноградников. Поля.

Гейне едет на авось. Думать ему не о чем. Гейне пытается вздремнуть. Он закрывает глаза.

„Что-нибудь да выйдет из этого. Наперед загадывать нет проку, да и возможности нет. Впереди—упоительная полная неизвестность".

Померанцы, вероятно, в цвету. Душистые широты садов—в разливе. Оттуда набегает ветерок соснуть хоть капельку на слипшихся ресницах пассажира.

„Это—наверняка. Что-нибудь да выйдет. А то с какой это радости—аа-ах,—зевает Гейне,—с какой это радости, что ни любовное стихотворенье у Релинквимини, то неизменная пометка „Феррара"!".

Скалы, пропасти, сном пришибленные соседи, смрад вагонный, газовый язычок фонаря. Он слизывает с потолка шорохи и тени, он облизывается, и он задыхается, когда скалы и пропасти сменяются тоннелем: гора грохоча сползает по вагон-

ной крыше, распластывает паровозный дым, загоняет его в окна, цепляется за вешалки и сетки. Тоннели и долины. Путь в одну колею плачет заунывно над горной, о камни разбившейся речонкой, с каких-то невероятных, чуть брезжущих во тьме высот сорвалась она. Там-то и чадят и дымятся водопады, глухой их рев всю ночь кружит вокруг поезда.

„Апеллесова черта... Рондольфина... За сутки, пожалуй, ничего не успеть. А больше нельзя. Надо скрыться бесследно. А завтра... Ведь он с места же сорвется на вокзал, как только лакей ему скажет о моем маршруте!"

Феррара! Иссиня-черный, стальной рассвет. Холодом напоен душистый туман. О, как звонко латинское утро!

III

— Невозможно, номер „Voce" уже сверстан.

— Да, но я никак, ни за какие деньги и ни в чьи руки не передам своей находки, между тем более одного дня я не могу остаться в Ферраре.

— Вы говорите, в вагоне, под диваном, записная его книжка?

— Да, записная книжка Эмилио Релинквимини. Мало того, записная книжка, содержащая среди массы обиходных записей еще большее множество неопубликованных стихотворений, ряд набросков, отрывочных заметок, афоризмов. Записи велись весь этот год, большей частью в Ферраре, насколько можно судить по подписям.

— Где она? Она с вами?

— Нет, я оставил вещи на вокзале, а книжка в саквояже.

— Жалко! Мы могли бы доставить книжку ему на дом. Феррарский адрес Релинквимини известен редакции, но вот уже с месяц, как он в отъезде.

— Как, разве Релинквимини не в Ферраре?

— В том-то и дело. Я собственно в толк не возьму, на какой исход можете вы надеяться, объявляя о своей находке?

— Единственно на то, что через посредство вашей газеты установится надежная связь между собственником книжки и мною, и Релинквимини в любое время сможет воспользоваться любезными услугами „Voce" в этом деле.

— Что с вами поделаешь! Присядьте, пожалуйста, и благоволите составить заявление.

— Виноват, господин редактор, я вас побеспокою, у вас настольный телефон—разрешите?

— Пожалуйста, сделайте одолжение.

— ...Гостиница „Торквато Тассо"?.. Какие номера свободны?.. В котором этаже?.. Прекрасно, оставьте восьмой за мною.

„Ritrovamento.—Найдена рукопись новой, готовившейся к выходу книги Эмилио Релинквимини. Владельца рукописи или его доверенных в течение всего дня до 11 часов ночи будет ждать у себя, в гостинице „Тассо", лицо, занимающее № 8 названной гостиницы. Начиная с завтрашнего дня редакция газеты „Voce", равно как дирекция гостиницы будут периодически и своевременно извещаться вышеозначенным лицом о каждой новой перемене его адреса".

Гейне, утомленный дорогой, спит мертвым, свинцовым сном. Жалюзи в его номере, нагретые дыханием утра, горят, точно медные перепонки губной гармоники. У окошка сетка лучей упала на пол расползающейся соломенной плетенкой. Соломинки сплачиваются, теснятся, жмутся друг к другу. На улице—невнятный говор. Кто-то заговаривается, у кого-то заплетается язык. Проходит час. Соломины уже плотно прилегают друг к другу, уже солнечною лужицей растекается по полу плетенка. На улице заговариваются, клюют носом, на улице заплетаются языки. Гейне спит. Солнечная лужица разжимается, словно пропитывается ею паркет. Снова это—редеющая плетенка из подпаленных, плоящихся соломин. Гейне спит. На улице говор. Проходят часы. Они лениво вырастают вместе с ростом черных прорезей в плетенке. На улице говор. Плетенка выцветает, пылится, тускнеет. Уже это—веревочный половик, свалявшийся, спутанный. Уже стежков и нитей не отличить от петель. На улице—говор. Гейне спит.

Сейчас он проснется. Сейчас Гейне вскочит, помяните мое слово. Сейчас. Дайте ему только до конца доглядеть последний обрывок сновиденья...

От жара рассохшееся колесо раскалывается вдруг по самую ступицу, спицы выпирают пучком перекушенных колышков, тележка со стуком, с грохотом падает набок, кипы

газет вываливаются. Толпа, парасоли, витрины, маркизы. Газетчика на носилках несут—аптека совсем поблизости.

— Вот видите! Что я говорил!—Гейне вскакивает.— Сейчас!

Кто-то нетерпеливо, с остервенением стучится в дверь. Гейне спросонья, взлохмаченный, во хмелю еще, хватается за халат.

— Виноват, сию секунду!—Чуть что не металлически брякнув, тяжело опускается на пол правая нога.—Сейчас. Ах, да!

Гейне подходит к двери.

— Кто тут?

Голос лакея.

— Да, да, тетрадь у меня. Попросите у синьоры от моего имени извиненья. Она в салоне?

Голос лакея.

— Предложите синьорине подождать минут десять. Через десять минут я весь к ее услугам. Слышите?

Голос лакея.

— Постойте, камерьере!

Голос лакея.

— Да не забудьте передать мадмуазель, что синьор-де выражает неподдельное свое сожаление по поводу того, что не может сию же минуту выйти к ней, чувствует себя перед ней глубоко виноватым, но постарается... Слышите ли вы, камерьере?..

Голос лакея.

— ...но постарается через десять минут полностью загладить свою непростительную оплошность. Да поучтивей, камерьере, я ведь не из феррарцев.

Голос лакея:

— Ладно, ладно.

— Камерьере, дама в салоне?

— Да, синьор.

— Она одна там?

— Одна, синьор, пожалуйте. Налево, синьор. Налево!

— Здравствуйте. Чем могу служить синьоре?

— Pardon, вы из номера восьмого?

— Да, я занимаю этот номер.

— Я—за тетрадью Релинквимини.

— Позвольте представиться: Генрих Гейне.

— Простите... Вы в родстве?..

— Нисколько. Случайное совпадение. Прискорбное даже. Я тоже имею счастье...

— Вы пишете стихи?

— Я не писал никогда ничего другого.

— Я знаю по-немецки и отдаю поэзии весь мой досуг, а между тем...

— Знакомы вам „Стихи, не изданные при жизни поэта"?

— Конечно. Так это вы?!

— Простите, я мечтаю все же услышать ваше имя.

— Камилла Арденце.

— Чрезвычайно приятно. Итак, синьора Арденце, вам попалось на глаза мое сегодняшнее заявление в „Voce"?

— Да, да. О найденной тетради. Где она? Дайте ее сюда.

— Синьора! Синьора Камилла, вы, может быть, всем сердцем своим, воспетым несравненным Релинквимини...

— Оставьте, мы не на подмостках...

— Вы ошибаетесь, синьора, мы—всю жизнь на подмостках, и далеко не всякому по силе та естественность, которая, как роль, навязана каждому от самого рождения. Синьора Камилла, вы любите родной свой город, вы любите Феррару, между тем это—первый город, определенно отталкивающий меня. Вы прекрасны, синьора Камилла, и у меня сердце содрогается при мысли, что вы в заговоре с отвратительным этим городом против меня.

— Я не понимаю вас.

— Не прерывайте меня, синьора. С городом, говорю я, который усыпил меня, как отравитель усыпляет собутыльника, когда к тому приближается его счастье; он усыпляет его затем, чтобы пробудить искру презренья к несчастному в глазах его счастья, зашедшего в таверну; и счастье изменяет усыпленному. „Миледи,—обращается к вошедшей отравитель,— взгляните на этого лежебока: это ваш возлюбленный; он коротал часы ожидания рассказами о вас; они шпорами вонзались в мое воображенье. Не на его ли хребте прискакали вы сюда? Зачем так немилосердно хлестали вы его своей тонкой плетью,—оно в мыле, оно разгорячено. О, эти рассказы! Но потрудитесь взглянуть на него. Миледи, он усыплен собствен-

ными рассказами о вас,—вы видите, разлука оказывает действие колыбельной песни на вашего возлюбленного. Однако мы можем разбудить его".—„Не надо,—отвечает отравителю счастье отравленного.—Не надо, не тревожьте его, он спит так сладко и, может быть, видит меня во сне. Лучше позаботьтесь о стакане пунша для меня. На улице так холодно. Я вся окоченела. Разотрите мне, пожалуйста, руки..."

— Вы очень странный человек, господин Гейне. Но продолжайте, пожалуйста, ваша высокопарная речь занимает меня.

— Виноват, как бы не забыть о тетради Релинквимини; я подымусь к себе в номер...

— Не беспокойтесь, я не забуду про нее. Продолжайте, пожалуйста. Вот забавный! Продолжайте же. „Разотрите мне руки",—говорит, кажется, счастье?

— Да, синьора Камилла. Вы слушали меня внимательно, благодарю вас.

— Ну?

— Так-то, как отравитель со своим собутыльником, обошелся со мной город, и вы, прекрасная Камилла, на его стороне. Он подслушал мои мысли о старых, как разбойничьи замки, и, как разбойничьи замки, одиноко стоящих, разваливающихся рассветах и усыпил меня, чтобы исподтишка воспользоваться ими; он дал мне власть наговориться о садах, на всех парусах из красного вечернего воздуха несущихся в открытую ночь, и вот—он поднял эти паруса, а меня оставил лежать в портовой таверне, и вы ведь не позволите ему будить меня, если хитрец это вам предложит.

— Послушайте, дорогой, при чем же я тут? Лакей, надеюсь окончательно вас разбудил?

— „Нет,—скажете вы,—ночь прибывает, не быть буре б, надо торопиться, пора, не буди его".

— О, синьор Гейне, как глубоко вы заблуждаетесь! „Да,—скажу я,—да, да, Феррара, растормоши его, если он еще спит, мне недосуг, разбуди его живей, собери все свои толпы, грохочи всеми площадями, пока не добудишься его: время не терпит".

— Да, правда, тетрадь!..

— После, после.

— О, дорогая синьора, Феррара обманулась в своих рас-

четах, Феррара одурачена; отравитель бежит, я пробуждаюсь, я пробужден,—я на коленях перед вами, любовь моя!

Камилла вскакивает.

— Довольно!.. Довольно!.. Правда, все это вам к лицу. Даже эти банальности. Именно эти банальности! Но нельзя же так, право! Вы ведь странствующий комедиант какой-то! Мы почти незнакомы. Только полчаса назад... Да господи, мне смешно даже рассуждать об этом—и все же я ведь вот рассуждаю. Никогда еще в жизни глупее себя не чувствовала. Вся эта сцена, как японский цветок, моментально распускающийся в воде. Ни больше, ни меньше! Но ведь цветы-то эти бумажные. И дешевые цветы!

— Я слушаю вас, синьора.

— Синьор, я охотнее слушала бы вас. Вы очень умны, и даже саркастичны, кажется. Между тем вы не гнушаетесь банальностями. Это странно, но в этом нет противоречия. Ваш театральный пафос...

— Простите, синьора. Пафос—это по-гречески—страсть и воздушный поцелуй по-итальянски. Бывают вынужденно воздушные...

— Опять! Увольте, это несносно! Что-то кроется в вас; объяснитесь. И послушайте, пожалуйста не сердитесь на меня, милый господин Гейне. За всем тем вы все-таки—вы не осудите меня за фамильярность?—вы—необыкновенный какой-то ребенок. Нет, это не то слово, вы—поэт. Да, да, как это сразу я не нашла его, а ведь для этого достаточно взглянуть на вас. Какой-то богом взысканный, судьбою избалованный бездельник.

— Evviva!—Гейне вскакивает на подоконник, перегибается всем телом наружу.

— Осторожнее, синьор Гейне,—кричит Камилла,—осторожнее, я боюсь!

— Не беспокойтесь, дорогая синьора. Эй, фурфанте! Лови!—Лиры летят на площадь.—Столько же, и, может, вдесятеро больше, получишь, обворовав с десяток феррарских садов. Сольдо за каждую дыру в штанине! Марш. Да смотри, не дыхни на цветы, как будешь нести: у контессы чутье мимозы. Рысью, шалопай! Волшебница, вы слышали? Мальчишка вернется в костюме амура. Но к делу. Что за проницатель-

ность! Одною чертой, чертой Апеллеса, передать все мое существо, всю суть положения!

— Я вас не понимаю. Или это—новый выход? Опять подмостки? Чего вы собственно хотите?

— Да, это снова подмостки. Но отчего бы и не позволить мне побыть немного в полосе полного освещения? Ведь не я виной тому, что в жизни сильнее всего освещаются опасные места: мосты и переходы. Какая резкость! Все остальное погружено во мрак. На таком мосту, пускай это будут и подмостки, человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями, как будто его выставили всем напоказ, обнесши его перилами, панорамой города, пропастями и сигнальными рефлекторами набережных... Синьора Камилла, вы не вняли бы и половине моих слов, если бы мы не столкнулись с вами на таком опасном месте. Оно опасно, надо полагать, хотя сам я этого не знаю; надо полагать, потому, что на его освещение людьми была потрачена бездна огня, и я не виноват в том, что мы освещены так грубо и аляповато.

— Хорошо. Вы кончили? Все это так. Но ведь это неслыханная бессмыслица! Мне хочется довериться вам. Это не прихоть. Это почти потребность у меня. Вы не лжете. Глаза ваши не лгут. Да, так что это я хотела вам сказать?.. Забыла... Постойте... Вот. Послушайте, милый, но ведь час еще назад...

— Перестаньте! Это—слова. Существуют часы, существуют и вечности. Их множество, и ни у одной нет начала. При первом же удобном случае они вырываются наружу. А это—сама случайность. И потом—долой слова! Знаете ли вы, синьора, когда и кем они свергаются? Долой слова! Знакомы ли вам такие восстания, синьора? Синьора, все мои фибры восстают на меня, и я должен буду уступить им, как уступают толпе. И вот последнее. Помните, как вы сейчас назвали меня?

— Конечно; и готова повторить это другой раз.

— Не надо. Но вы умеете глядеть так животворно. И уже овладели линией, единственной, как сама жизнь. Так не упускайте же, не обрывайте ее на мне, оттяните ее, насколько она сама это позволит. Ведите дальше эту черту...

Что же получилось у вас, синьора? Как вышли вы? В профиль? В полоборота? Или еще как?

— Я вас понимаю.—Камилла протягивает Гейне руку.— И все же. Нет, господи, я ведь не девочка. Надо опомниться. Это как гипноз.

— Синьора,—театрально восклицает Гейне у ног Камиллы,—синьора,—глухо восклицает он, спрятав лицо в ладони,—провели ли вы уже ту черту?.. Что за мука!—полушопотом вздыхает он, отрывает руки от внезапно побледневшего лица... и, взглянув в глаза все более и более теряющейся госпожи Арденце, к несказанному изумлению своему замечает, что...

IV

...что женщина эта действительно прекрасна, что до неузнаваемости прекрасна она, что биение собственного его сердца, курлыча, как вода за кормой, подымается, идет на прибыль, заливает вплотную приблизившиеся колени и ленивыми, наслаивающимися волнами прокатывается по ее стану, колышет ее шелка, затягивает ровною гладью ее плечи, подымает подбородок и—о, чудо!—слегка приподымает его, приподымает выше,—синьора по горло в его сердце, еще одна такая волна, и она захлебнется! И Гейне подхватывает тонущую; поцелуй,— и какой!—поцелуй на себе выносит их, но стоном стонет он под напором разыгравшихся сердец, дергает и срывается ввысь, вперед, чорт его разберет—куда; а она не сопротивляется, нет. Нет, хочешь,—поет поцелуем влекомое, поцелуем взнузданное, вытянувшееся ее тело,—хочешь—буду шлюпкой таких поцелуев, только неси, неси ее, неси меня...

— Сту-чат!—хрипом вырывается из груди Камиллы.—Стучат!—И она вырывается из его объятий.

И правда.

— Тысяча чертей! Кто там?

— Синьор напрасно замкнул салон, у нас это не принято.

— Молчать! Я властен делать что угодно.

— Вы больны, сударь.

Итальянская ругань, страстная, фанатическая, как молитвословие. Гейне отпирает. В коридоре доругивающийся лакей,

за ним, немного отступя, подросток-оборвыш, с головой ушедший в целый лес лиан, олеандров, флер-д'оранжа, лилий...

— Этот негодяй...

...роз, магнолий, гвоздики...

— Этот негодяй во что бы то ни стало требовал пропустить его в комнату, окнами обращенную на площадь; таковою может быть только салон.

— Да, да, салон,—гортанно рычит мальчишка.

— Разумеется, в салон,—соглашается Гейне,—это я сам ему приказал.

— ...Потому что,—нетерпеливо продолжает лакей,—ни до конторы, ни до ванн, ни, тем более, до читальной комнаты никакого дела у него быть не может. Однако при совершенной непристойности его костюма...

— Ах, да,—словно только сейчас проснувшись, восклицает Гейне,—Рондольфина, взгляните на его панталоны! Кто сшил тебе эти брючки из рыбачьей сети, прозрачное созданье?

— Синьор, шипы колючих изгородей в Ферраре ежегодно оттачиваются наново специальными садовыми...

— Ха-ха-ха!

— ...При совершенном неприличии его костюма,—нетерпеливо продолжает лакей, по-особенному напирая на это выражение ввиду подошедшей синьоры, на лице коей борется тень внезапного недоумения с лучами вовсе не преоборимой веселости,—при совершенном неприличии его костюма мы предложили мальчишке, передав через нас требуемое синьором, дождаться ответа на улице. Но мошенник этот...

— Да, да, он прав,—останавливает ритора Гейне,—это я велел ему самолично явиться перед лицо синьоры...

— ...Мошенник этот,—уже не владея собой, тараторит запальчивый калабриец,—пустил в ход угрозы.

— А именно?—любопытствует Гейне.—Как это колоритно, синьора, не правда ли?

— Сорванец сослался на вас. „Синьор,—пригрозил он,—синьор негоциант в следующие свои проезды через Феррару станет пользоваться услугами других albergo, если вы, наперекор его воле, не допустите меня до него".

— Ха-ха-ха! Вот забавник! Каково, синьора! Вы отнесете эту тропическую плантацию... Погодите!—Гейне, обернув-

шись, ждет от Камиллы указаний,—...в восьмой, пока что,— не дождавшись от нее ответа, продолжает Гейне.

— К вам, покамест,—слегка краснея, повторяет Камилла.

— Слушаю-с, синьор. А относительно мальчишки...

— А ты, обезьяна, во что ценишь ты свои панталоны?

— Джулио весь в рубцах, Джулио посинел от холода. У Джулио нет другого платья, ни папы, ни мамы нет у Джулио,— плаксиво хнычет, обливаясь потом, десятилетний жулик.

— Итак, сколько же, отвечай!

— Сто сольди, синьор,—неуверенно-мечтательно, как галлюцинант, произносит подросток.

— Ха-ха-ха!—хохочут все: хохочет Гейне, хохочет Камилла, хохотом разражается и лакей, лакей в особенности, когда, вынув бумажник, Гейне достает оттуда кредитку в десять лир и, не переставая смеяться, протягивает ее оборвышу.

Тот молниеносно стреляет цепкою лапою по протянутой бумажке.

— Постой,—говорит Гейне.—Это, надо думать, первое твое выступление на поприще коммерции. В добрый час... Послушайте, камерьере, уверяю вас, смех ваш в этом случае положительно неблагоразумен: он за живое задевает юного негоцианта. И не правда ли, мой милый, ты никогда уже больше при ближайших своих операциях в Ферраре не станешь показываться на пороге негостеприимного „Торквато“?

— О нет, синьор, напротив... А сколько дней еще остается синьор в Ферраре?

— Через два часа я совсем уезжаю отсюда.

— Синьор Энрико...

— Да, синьора.

— Выйдемте на улицу, не возвращаться же нам, право, в этот глупый салон.

— Хорошо... Камерьере, эти цветы—в восьмой. Погодите, этой розе надо еще распуститься; на этот вечер сады Феррары поручают ее вам, синьора.

— Merci, Энрико... Черная эта гвоздика лишена всякой сдержанности, сады Феррары, синьор, вверяют вам уход за этим разнузданным цветком.

— Вашу ручку, синьора... Итак, камерьере, это—в восьмой. И шляпу мне: она в номере.

Лакей удаляется.

— Вы не сделаете этого, Энрико.

— Камилла, я не понимаю вас.

— Вы останетесь,—о, не отвечайте мне ничего,—вы останетесь еще на день хотя бы в Ферраре... Энрико, Энрико, вы выпачкали себе бровь в цветочной пыли, дайте я обмахну.

— Синьора Камилла, на вашем башмачке пушистая гусеница, я собью ее,—я отправлю телеграмму домой во Франкфурт,—и платье у вас все в лепестках, синьора,—и буду посылать депеши ежедневно, пока вы не запретите мне.

— Энрико, я не вижу на вашем пальце обручального кольца; надевали вы когда-нибудь такое украшение?

— Зато я давно заметил на вашем, Камилла... А, шляпа! Благодарю вас.

V

Благоуханный вечер преисполнил собою все закоулки Феррары и гулкою каплей перекатывался по ее уличному лабиринту, словно капля морской воды, что забилась в ухо и весь череп глухотой налила.

В кофейне шумно. Но тихая, утлая улочка ведет к кофейне. В ней-то и заключается главная причина того, что, затаив дыхание, окружил ее со всех сторон оглушенный, ошеломленный город: вечер забился в одну из его улочек, и в ту как раз, где на углу кофейня.

Камилла призадумалась, дожидаясь Гейне. Он пошел в телеграфное бюро рядом с кофейней.

„Почему это ни за что не хотел он написать телеграмму в кафе и с посыльным ее отправить? Неужели он никак не мог удовольствоваться простою, официальной депешей? Какая-то крепкая, сплошь на чувстве стоящая связь? Но, с другой стороны, он и совсем бы позабыл о ней, если бы не напомнить ему про телеграмму. И эта Рондольфина... надо будет спросить о ней. А можно ли? Это интимности ведь. Господи, я точно девочка! Можно, нужно! Сегодня я получаю право на все, сегодня я на все теряю право. Они тебя исковеркали, милая, эти артисты. Но этот... А Релинквимини?.. Какой да-

лекий образ! С весны? О нет, раньше еще; а встреча нового года?!. Да нет, он никогда не был близок мне... А этот?..“

— О чем вы задумались, Камилла?

— А вы отчего так грустны, Энрико? Не печальтесь: я отпускаю вас. Есть телеграммы, которые пишутся лакеем под диктовку. Отправьте такую депешу домой, вы просрочили только три часа, ночью из Феррары отходит поезд на Венецию, ночью же и на Милан, ваше опозданье не превысит...

— К чему это, Камилла?

— Отчего вы так грустны, Энрико? Расскажите мне что-нибудь о Рондольфине.

Гейне содрогается и вскакивает со стула.

— Откуда вы знаете? Он тут? Он был здесь в мое отсутствие?! Где он, где он, Камилла?

— Вы побледнели, Энрико. О ком говорите вы? Я вас спрашивала о женщине. Не так ли?!. Или я не так произношу это имя? Рондольфина? Все дело в гласной. Садитесь. На нас смотрят.

— Кто вам рассказал о ней? Вы получили от него известие? Но каким образом и как дошло оно сюда? Ведь мы случайно здесь; я хочу сказать—никто ведь не знает, что мы здесь.

— Энрико, ни кого здесь не было и ничего не произошло, пока вы были на телеграфе. Даю вам честное слово. Но это с минуты на минуту становится любопытней. Их двое значит?

— Тогда это чудо! Уму непостижимо... я рассудка лишаюсь. Кто подсказал вам это имя, Камилла? Где вы слышали его?

— Нынешнюю ночь, во сне. Господи, это ведь так обычно! Но вы все еще не ответили мне, кто такая эта Рондольфина? Чудеса не перевелись на свете—оставим чудеса в покое. Кто она такая, Энрико?

— О, Камилла, Рондольфина—это вы!

— Актер изолгавшийся!.. Нет!.. нет! Пустите!.. не прикасайтесь ко мне!

Оба вскакивают. Камилла вся—одно движение бесповоротно стремительного маневра. Их разделяет только столик. Камилла хватается за спинку кресла, что-то встало меж ней

и ее решеньем, что-то вселилось в нее, и, как карусель, круговой волной повело кофейню вверх, наоткось... Пропала!.. Сорвать его, сорвать колье...

Той же тошнотворной, карусельной бороздой тронулась, пошла и потекла цепь лиц... эспаньолок... моноклей... лорнетов, в ежесекундно растущем множестве наводимых на нее; разговоры за всеми столиками претыкаются об этот несчастный столик, она еще видит его, еще опирается, может пройдет... Нет... нестройный оркестр сбивается с такта...

— Камерьере, воды!

VI

Лихорадит слегка.

— Какой у вас крошечный номер!.. Да, да, вот так, спасибо. Я еще полежу немного. Это малярия—а потом... У меня ведь целая квартира; но вы не должны оставлять меня. Это может стрястись надо мной каждую минуту. Энрико!

— Да, дорогая?

— Чего ж вы молчите?.. Нет, нет, не надо, лучше так... Ах, Энрико, я и не припомню, было ли утро сегодня... А сил всё стоят еще?

— Что, Камилла?

— Цветы. Их надо вынести на ночь. Какой тяжелый аромат! Сколько в нем тонн?

— Я велю вынести их... Что такое, Камилла?

— Я встану... Да я сама, спасибо. Вот—совсем прошло, стоит только на ноги стать... Да, надо вынести их. А куда бы? Постойте, у меня ведь целая квартира на площади Ариосто. Отсюда видать, наверное...

— Ночь уже. Кажется, посвежело немного.

— Отчего так мало народу на улице?

— Тсс, каждое слово слыхать.

. . . .

— О чем это они?

— Не знаю, Камилла. Студенты, кажется. Похвальба какая-то. Может быть, о том, что и мы...

— Пустите-ка. Остановились на углу! Господи, он маленького через голову перебросил!! Вот опять тишина. Как дико-

винно свет застревает в ветвях! А фонаря не видно. Мы не в последнем?

— Что, Камилла?

— Над нами еще этаж?

— Да, кажется.

Камилла высовывается из окошка, она заглядывает за навесной щиток снизу вверх.

— Нет...—Но Гейне не дает ей договорить.—Нет никого,— высвобождаясь, повторяет она.

— В чем дело?

— Я думала, там человек стоит, лампа на окне, а он крошенные листья и тени в окошко швыряет на улицу; хотела лицо подставить, поймать на щеку. Ну, и нет никого.

— Да это поэзия сама, Камилла!

— Правда? Не знаю. Вот он. Вот там, около театра. Где зарево лиловое.

— Кто, Камилла?

— Вот чудак! Дом мой, вот кто. Да, но это припадки! Если бы устроить как-нибудь...

— Номер уже заказан для вас.

— Правда? Какая заботливость! Наконец-то. Который час? Пойдем посмотрим, какой это номер у меня? Интересно.

Они уходят из восьмого, улыбающиеся и взволнованные, как школьники, осаждающие Трою на дровяном дворе.

VII

Задолго еще до его наступления, о близости нового утра стали болтливо разглагольствовать католические колокола, толчками, с кувыркающихся колод, отвешивая свои холодные поклоны. В гостинице горела одна всего лампочка. Она вспыхнула, когда едко затрещал телефонный звонок, и ее уже не тушили потом. Она была свидетельницей того, как подбежал к аппарату заспанный дежурный; как, отложив трубку на пульт, после некоторых пререканий с звонившимся, затерялся он в глуби коридора, как спустя некоторое время вынырнул он из тех полутемных недр.

— Да, синьор уезжает сегодня поутру, он позвонит вам,

если это так срочно, через полчаса, потрудитесь оставить свой номер. Скажите, кого вызвать.

Лампочка осталась гореть и тогда, когда, застегиваясь на ходу, ночной походкою, на носках, из поперечного коридорчика в главный прошел человек из восьмого, как был он назван по телефону.

Лампочка находилась как раз напротив этого номера. Человек из восьмого, однако, для того чтобы попасть к телефону, совершил пешеходную прогулку по коридору, и начало этой прогулки лежало где-то в зоне восьмидесятых номеров. После непродолжительных переговоров с дежурным, изменившись в лице, на котором тревожное волнение уступило место чертам внезапной беззаботности и любопытства, он отважно взялся за телефонную трубку и, по исполнении всех технических обрядностей, нашел себе собеседника в лице редактора газеты „Voce".

— Слушайте, это безбожно! Кто вам сказал, что я бессонницей страдаю?

. . . .

— Вы по ошибке, кажется, попали к телефону, подымаясь на колокольню. Чего вы благовестите? Ну, в чем дело?

. . . .

— Да, я задержался на сутки.

. . . .

— Лакей прав, домашнего адреса я им не оставлял и не оставлю.

. . . .

— Вам? Тоже нет. Да вообще я и не думал его публиковать, да еще сегодня, как вы, кажется, вообразили.

. . . .

— Он вам никогда ни на что не понадобится.

. . . .

— Не горячитесь, господин редактор, и вообще побольше хладнокровия. Релинквимини и не подумает обращаться к вашему посредничеству.

. . . .

— Потому что он не нуждается в нем.

. . . .

— Еще раз напоминаю вам о драгоценности вашего спо-

койствия для меня. Реликвимини никогда никакой тетрадки не терял.

. . . .

— Позвольте,—хотя это первое недвусмысленное выражение у вас. Нет, безусловно нет.

. . . .

— Опять? Хорошо, допускаю. Но это—шантаж только в пределах вчерашнего номера вашей „Voce“. И далеко не то—за его пределами.

. . . .

— Со вчерашнего дня. С шести часов пополудни.

. . . .

— Если бы вы хоть стороной нюхнули того, что взошло на дрожжах этой выдумки, вы бы подыскали всему этому названье порезче, и оно еще дальше находилось бы от истины, чем то, что вы только что изволили преподнести мне.

. . . .

— Охотно. С удовольствием. Сегодня я не вижу этому никаких препятствий. Генрих Гейне.

. . . .

— Вот именно.

. . . .

— Очень лестно слушать.

. . . .

— Да что вы?

. . . .

— Очень охотно. Как же это сделать? Жалею, что вынужден сегодня же ехать. Приходите на вокзал, проведемте часок вместе.

. . . .

— Девять тридцать пять. Впрочем, время—цепь сюрпризов. Лучше не приезжайте.

. . . .

— Приходите в гостиницу. Днем. Вернее будет. Или ко мне на квартиру. Вечером. Во фраке, пожалуйста, с цветами.

. . . .

— Да, да, господин редактор, вы—пифия.

. . . .

— Или завтра на дуэльную площадку, за город.

. . . .

— Не знаю, может быть, и не шутка.

. . . .

— Или, если вы заняты эти два дня сплошь, приходите, знаете что, приходите на Campo Santo, послезавтра.

. . . .

— Вы думаете?

. . . .

— Вы думаете?

. . . .

— Какой странный разговор ни свет ни заря! Ну, простите, я устал, меня в номер тянет.

. . . .

— Не слышу...?.. В восьмой? Ах, да. Да, да, в восьмой. Это—дивный номер, господин редактор, с совершенно особым климатом, там вот уже пятый час стоит вечная весна. Прощайте, господин редактор.

Гейне машинально повертывает выключатель.

— Не туши, Энрико,—раздается в темноте из глубины коридора.

— Камилла?!!

1915

Воздушные пути

Михаилу Алексеевичу Кузьмину

I

Под вековою шелковицею спала нянька, прислонившись к ее стволу. Когда огромная лиловая туча, встав на краю дороги, заставила умолкнуть и кузнечиков, знойно трещавших в траве, а в лагерях вздохнули и оттрепетали барабаны, у земли потемнело в глазах, и на свете не стало жизни.

— Куды, куды!—поротой губой провыла на весь мир полоумная пастушка и, в предшествии молодого бычка, волоча отдавленную ногу и маша, как молнией, дикой хворостиной, явилась в облаке мусора с того краю сада, где начиналась дичь: паслен, кирпич, мятая проволока, гнилой полумрак.

И она исчезла.

Туча окинула взглядом низкие запекшиеся жнивья. Они стлались до самого горизонта. Туча легко вскинулась на дыбы. Они простирались и дальше, за самые лагеря. Туча опустилась на передние ноги и, плавно перейдя через дорогу, бесшумно поползла вдоль четвертого рельса разъезда. Кусты, пообнажав головы, всей насыпью двинулись за ней. Они текли, кланяясь ей. Она им не отвечала.

С дерева падали ягоды и гусеницы. Они отваливались, зачумев от жары, и, втяпнувшись в нянин передник, переставали о чем-либо думать.

Ребенок дополз до водопроводного крана. Он полз уже давно. Он пополз дальше.

Когда наконец польет и обе пары рельс полетят вдоль косых плетней, спасаясь от черной водяной ночи, спущенной

на них; когда, бушующая, впопыхах она на бегу прокричит вам, чтобы вы ее не боялись, что ее зовут ливнем, любовью и еще как-то, я расскажу вам, что родители похищаемого мальчика с вечера вычистили свое пике, и было еще очень рано, когда, белоснежные, как на партию тенниса, они прошли темным еще садом и вышли к столбу с обозначением станции в то самое мгновенье, как пузатая тарелка паровика, выкатываясь из-за огородничества, обволокла турецкую кондитерскую клубами желтого, одышлого дыма.

Они направлялись в порт встречать того гардемарина, который любил ее когда-то, был другом мужу и в это утро ожидался в город из учебного кругосветного плавания.

Муж горел нетерпением поскорей посвятить приятеля в глубокий смысл еще не вовсе опостылевшего ему отцовства. Так бывает. Несложное происшествие едва ли не впервые столкнуло вас с прелестью самобытного смысла. Это столь ново для вас, что вот случится человек, обогнувший весь свет, всего навидавшийся и имеющий, казалось бы, что порассказать, а вам кажется, что в предстоящей встрече слушателем будет он, а вы—поражающею его ум трещоткой.

В противность мужу, ее, как якорь в воду, тянуло в железный лязг гаванной сутолоки, к рыжей ржавчине трехтрубных гигантов, в льющееся ручьями зерно, под светлый плеск небес, парусов и матросок. Побуждения их были несходны.

Льет дождь, льет, как из ведра. Я приступаю к обещанному. Над канавой трещат ветки орешника. Две фигуры бегут по полю. У мужчины черная борода. Косматая грива женщины бьется по ветру. У мужчины зеленый кафтан и серебряные серьги, на руках он держит восхищенного ребенка. Льет, льет, как из ведра.

II

Оказалось, он давно уже произведен в мичманы.

Одиннадцать часов ночи. К станции подкатывает последний поезд из города. Досыта перед этим наплакавшись, он повеселел уже с закругленья и как-то расхлопотался. Теперь, забрав воздуха со всего околотка, вместе с листьями, песком и росой, влившимися в его разрывающиеся резервуары, он останавливается, бьет в ладоши и замолкает, дожидаясь ответного

тула. Это должно будет стечься к нему со всех дорожек. Когда он его услышит, дама, моряк и штатский, все в белом, свернут с дороги на пешеходную тропку, и прямо перед ними из-за тополей всплывет ослепительный диск покрытой росою кровли. Они пройдут к изгороди, хлопнут калиткой, и, ничего не разроняв из желобов, князьков и карнизцев, щекочущими сережками качающихся в ее ушках, железная планета станет закатываться по мере их приближения. Гул укатившего поезда разрастется неожиданно далеко и, обманывая себя и других, на время прикинется тишиной, а потом рассыплется дождем мелких замирающих обмылков. Однако выяснится, что вовсе это не поезд, а водяные ракеты, которыми потешается море. Из-за станционной рощи на дорогу выйдет луна. И тогда, при взгляде на всю эту сцену, вам покажется, что она сочинена до крайности знакомым и постоянно забывающимся поэтом, и что теперь еще ее дарят детям на рождество. Вы вспомните, что раз как-то этот самый забор привиделся вам во сне, и тогда он назывался краем света.

У обмытого луною крыльца белелось ведерко с краской, и стояла малярная кисть, волосом вверх прислоненная к стене. Потом в сад растворили окно.

— Сегодня белили,—негромко произнес женский голос.— Вы чувствуете? Пойдемте ужинать.

И снова настала тишина. Она длилась недолго. В доме поднялась суматоха.

— Как? Как это—нету? Пропа-ал?!—одновременно восклицали сиплый, как ослабнувшая струна, басок и сверкающее истерикой женское контральто.

— Под деревом? Под деревом? Сию же минуту встать и толком. И не выть. Да отпусти ты руки мои, ради христа. Господи, да что ж это такое! Тоша мой, Тошенька! Не сметь! Не сметь! В глаза?! Бессовестная, бесстыжая, дрянная!—И, перестав быть словами, звуки жалобно слились, осеклись и удалились. Их не стало слыхать.

Ночь кончалась. Но до рассвета было далеко. Земля, как стогами, была уставлена формами, ошеломленными тишиной. Они отдыхали. Расстоянья между ними увеличились против дня; точно для того, чтобы лучше отдохнуть, формы разо-

шлись и удалились. В промежутках между ними неслышно пыхтели и перефыркивались зябкие луга под насквозь потными попонами. Редко какая из форм оказывалась деревом, облаком или чем знакомым. Больше же это были неясные нагромождения без имен. Их слегка кружило, и в этом полуобмороке едва ли бы сумели они сказать, был ли только что дождь и перестал, или же он собирается и вот-вот начнет накрапывать. Их то-и-дело поколыхивало из бывшего в будущее, из будущего в бывшее, как песок в часто переворачиваемых песочных часах.

Но на далеком отлете от них, как белье, сорванное на рассвете порывом ветра с забора и занесенное чорт знает куда, смутно мелькали на том краю поля три человеческие фигуры, и в противоположной от них стороне катился и перекатывался вечно испаряющийся отгул далекого моря. Этих четверых несло только из бывшего в будущее и назад никогда не возвращало. Люди в белом перебегали с места на место, нагибались и выпрямлялись, спрыгивали во рвы и, скрывшись, выходили потом на межу в совсем другом месте. Находясь на больших расстояниях друг от друга, они перекрикивались и махали друг другу руками, и так как эти сигналы понимались всякий раз превратно, то тут же они принимались махать по-иному, порывистей, досадливей и чаще в знак того, что знаков не поняли и они отменяются, и чтобы не возвращаться, а продолжать искать там, где искали. Стройная бурность этих фигурок производила такое впечатление, точно, задумав ночью играть в лапту, они мяч упустили и теперь шарят его по канавам и, найдя, игру возобновят.

Среди отдыхавших форм царило совершенное безветрие, и уже верилось в близкий рассвет; при взгляде же на этих людей, отрывистыми вихрами взлетавших над землей, можно было подумать, что поляну взбило и встрепало ветром, потемками и тревогой, как каким-то черным гребешком о трех сломанных зубьях.

Существует закон, по которому с нами никогда не может быть того, что сплошь и рядом должно приключаться с другими. Правило это не раз приводилось писателями. Неопровержимость его состоит в том, что, пока еще нас узнают друзья, мы полагаем несчастье поправимым. Когда же мы

проникаемся сознаньем его непоправимости, друзья перестают узнавать нас, и, точно в подтверждение правила, мы сами становимся другими, то есть теми, которые призваны гореть, разоряться, попадать под суд или в сумасшедший дом.

Пока на няню вскидывались здоровые еще люди, дело представлялось им в том, что ли, виде, что от горячности их расправы зависело войти потом в детскую и, облегченно вздохнув, найти в ней мальчика, водворенного на место размерами их испуга и огорчения. Зрелище пустой кроватки спустило с их голосов кожу. Но и с ободранною душой, кинувшись сперва шарить по саду, а потом все дальше и дальше отходя в своих розысках от дому, они долго еще были людьми нашего десятка, то есть искали, чтобы найти. Однако сменялись часы, менялась в лице своем ночь, менялись и они, и теперь, на ее исходе, это были совершенно неузнаваемые люди, переставшие понимать, за какие это грехи и для чего, не давая им отдышаться, жестокое пространство продолжает таскать и переметывать их из конца в конец по той земле, на которой им сына уже больше никогда и никак не видать. И они давно позабыли о мичмане, перенесшем свои поиски по ту сторону оврага.

Ради этого ли спорного наблюдения скрывает автор от читателя то, что ему так хорошо известно? Ведь лучше всякого другого знает он, что лишь только в поселке откроют булочные и разминутся первые поезда, как слух о печальном происшествии облетит все дачи и укажет наконец близнецам-гимназистам с Ольгиной, куда им доставить своего безыменного знакомца и трофей вчерашней победы.

Уже из-под деревьев, как из-под низко надвинутых клобуков, выбивались первые начатки неочнувшегося утра. Светало приступами, с перерывами. Морского гула вдруг как не бывало, и стало еще тише, чем прежде. Неизвестно откуда берясь, слащавый и учащающийся трепет пробегал по деревьям. Чередом, пошпалерно, отшлепав забор своим потным серебром, они снова надолго впадали в сон, только что нарушенный. Два редких алмаза розно и самостоятельно играли в глубоких гнездах этой полутемной благодати: птичка и ее чириканье. Пугаясь своего одиночества и стыдясь ничтоже-

ства, птичка изо всех сил старалась без следа раствориться в необозримом море росы, неспособной собраться с мыслями по рассеянности и спросонья. Ей это удавалось. Склонив головку набок и крепко зажмурясь, она без звука упивалась глупостью и грустью только что родившейся земли, радуясь своему исчезновению. Но сил ее не хватало. И вдруг, прорвав ее сопротивление и выдавая ее с головой, неизменным узором на неизменной высоте зажигался холодной звездой ее крупный щебет, упругая дробь разлеталась иглистыми спицами, брызги звучали, зябли и изумлялись, будто расплескали блюдце с огромным удивляющимся глазом.

Но вот стало светать дружнее. Сад весь наполнился сырым белым светом. Тесней всего свет этот льнул к оштукатуренной стене, к усыпанным хрящом дорожкам и к стволам тех фруктовых деревьев, которые были обмазаны каким-то купоросным, беловатым, как известь, составом. И вот, с таким же мертвенным налетом на лице, по саду проплелась только что вернувшаяся с поля мать ребенка. Она, не останавливаясь, подкашивающимся шагом прошла наперерез к задам, не замечая, что́ топчут и в чем тонут ее ноги. Опускающиеся и подымающиеся грядки бросали ее вверх и вниз, как будто ее волнение еще нуждалось во взбалтывании. Перешедши огород, она приблизилась к той части забора, за которой виднелась дорога к лагерям. К этому месту направлялся мичман, собираясь перелезть через ограду, чтобы не обходить сада кругом. Зевающий восток нес его на ограду, как белый парус сильно накренившейся лодки. Она дожидалась его, держась за заборные балясины. Видно было, что она собирается что-то сказать и полностью приготовила свое короткое слово.

Та же близость недавно пролившегося или ожидающегося дождя, что и наверху, чувствовалась на берегу моря. Откуда мог происходить гул, всю ночь слышавшийся по ту сторону полотна? Море лежало, холодея, как нартученный испод зеркала, и лишь легко спохватывалось и всхлипывало по ободкам. Горизонт уже желтел болезненно и злобно. Это было простительно заре, прижавшейся к задней стене огромного, на сотни верст загаженного хлева, где во всякую минуту могли взбеситься и подняться со всех концов волны. Теперь же

они ползали на брюхе и чуть заметно терлись друг о дружку, словно несметное стадо черных и скользких свиней.

На берег из-за скалы вышел мичман. Он шел быстрым и бодрым шагом, иногда перескакивая с камня на камень. Только что он узнал наверху нечто ошеломляющее. Он поднял с песка плоский оглодыш черепицы и плашмя запустил его в воду. Камень как по слюне рикошетом проскользнул вкось, издав тот же неуловимый младенческий звук, что и все мелководье. Только что, когда совершенно отчаявшись в поисках, он повернул к даче и стал подходить к ней со стороны поляны, как Леля подбежала изнутри к забору и, дав ему подойти вплотную, быстро проговорила:

— Мы больше не можем. Спаси! Найди его. Это твой сын.

Когда же он схватил ее за руку, она вырвалась и убежала, а когда он перелез в сад, то нигде уже не мог ее найти. Он снова поднял камень и так, не переставая швырять их, стал удаляться и скрылся за выступом скалы.

А позади него продолжали жить и шевелиться его собственные следы. Им тоже хотелось спать. Это полз, осыпался, вздыхал и переворачивался с боку на бок потревоженный хрящ, и, погрохатывая, укладывался поудобней, чтобы теперь уже выспаться на полном покое.

II

Прошло больше пятнадцати лет. На дворе смеркалось, в комнатах было темно. Неизвестная дама в третий уже раз спрашивала члена президиума губисполкома, бывшего морского офицера Поливанова. Перед дамой стоял скучающий солдат. В окно прихожей виднелся проходной двор, заваленный грудами кирпича под снегом. В самой его глубине, где когда-то была помойная яма, а теперь высилась гора давно не свозившегося мусора, небо казалось дремучим запуском, выросшим по скатам этого скопища дохлых кошек и консервных жестянок, которые воскресали в оттепели и, отдышавшись, принимались двошить былыми веснами и каплющим, чиликающим, тряско погромыхивающим привольем. Но достаточно было отвести взгляд от этого закоулка и поднять глаза выше, чтобы поразиться тем, до чего это небо ново.

Нынешняя его способность разносить круглые сутки с моря и от вокзала гул ружейной и орудийной пальбы отодвинула далеко назад его воспоминанье о тысяча девятьсот пятом годе. Словно шоссейным катком из конца в конец укатанное запойной канонадой и теперь ею окончательно утрамбованное и убитое, оно безмолвно хмурилось и, не двигаясь, куда-то уводило, как это зимою свойственно всякой ленте однообразно разматывающейся рельсовой колеи.

Что же это было за небо? Оно и днем напоминало образ той ночи, которую мы видим в молодости и в походе. Оно и днем бросалось в глаза, и, безмерно заметное, оно и днем насыщалось опустошенной землей, валило с ног сонливых и подымало на ноги мечтателей.

Это были воздушные пути, по которым, как поезда, ежедневно отходили прямолинейные мысли Либкнехта, Ленина и немногих умов их полета. Это были пути, установленные на уровне, достаточном для прохождения всяческих границ, как бы они ни назывались. Одна из линий, проложенная еще во время войны, сохраняла свою прежнюю стратегическую высоту, навязанную строителям природою фронтов, над которыми ее пролагали. Эта старая военная ветка, где-то в своем месте и в какие-то свои часы пересекавшая границу Польши и потом Германии,—тут, у своего начала, на глазах у всех выходила из границ разумения посредственности и ее терпенья. Она проходила над двором, и он пугался далекости ее назначения и ее угнетающей громоздкости, как всегда пугается рельсового пути врассыпную от него бегущее предместье. Это было небо Третьего интернационала.

Солдат отвечал даме, что Поливанов еще не ворочáлся. Скука трех родов слышалась в его голосе. Это была скука существа, привыкшего к жидкой грязи и очутившегося в сухой пыли. Это была скука человека, сжившегося в заградительных и реквизиционных отрядах с тем, что вопросы задает он, а отвечает, сбиваясь и робея, такая вот барыня, и скучавшего оттого, что порядок образцового собеседованья тут перевернут и нарушен. Это была, наконец, и та напускная скучливость, которою придают вид сущей обыкновенности чему-нибудь совершенно небывалому. И, превосходно зная, каким неслыханным должен был казаться барыне порядок

последнего времени, он напускал на себя дурь, точно о ее чувствах и не догадывался, и отродясь ничем другим, как диктатурой, и не дышал.

Вдруг вошел Левушка. Что-то, подобное лямке гигантских шагов, с размаху внесло его на второй этаж с воздуха, откуда пахнуло снегом и неосвещенной тишиной. Ухватившись за этот предмет, оказавшийся портфелем, солдат остановил вошедшего, как останавливают карусель на полном ходу.

— Вот какое дело,—обратился он к нему,—из пленбежа были.

— Это опять насчет венгерцев?

— Ну да.

— Так ведь сказано им, на одних документах партия не уедет!

— Ну, а я про что? Я это очень хорошо понимаю, что по случаю пароходов. Я так им и объяснял.

— Ну, и что же?

— „Мы, говорят, и без вас знаем. Ваше дело—бумаги чтобы в полном порядке, вроде как для посадки. А там, как сказать, дело текущее“. Им помещенье освободить.

— Так. А еще что?

— А боле ничего. Только и толку, что бумаги им, помещенье,—говорят.

— Да нет!—перебил Поливанов.—Зачем повторять! Я не про то.

— С Канатной пакет,—сказал солдат, назвав улицу, где помещалась Чека, и, приблизясь к нему, понизил голос до шопота, как на разводе.

— Да что ты! Так. Не может быть!—равнодушно и рассеянно проговорил Поливанов.

Солдат отошел от него. Мгновенье оба стояли молча.

— Хлеба принесли?—неожиданно кисло спросил солдат, потому что по форме портфеля не нуждался в ответе, и прибавил:—Да вот еще тут... гражданка к вам.

—Так, так, так,—в том же рассеяньи протянул Поливанов.

Канат гигантских шагов дрогнул и натянулся. Портфель пришел в движенье.

— Пожалуйте, товарищ,—обратился он к даме, приглашая ее в кабинет. Он ее не узнал.

По сравнению с темнотою передней здесь был полный мрак. Она двинулась следом за ним и за дверьми остановилась. Вероятно, тут был ковер во всю комнату, потому что, едва сделав два или три шага, он куда-то пропал, а потом такие же шаги раздались в противоположном конце этих потемок. Послышались звуки, последовательно убиравшие столешницу двигающимися стаканами, сухарным и рафинадным ломом, частями разобранного револьвера, шестигранными карандашами. Он тихо водил рукой по столу, что-то перекатывая и растирая, и искал спичек. Воображение только уж было перенесло комнату, увешанную картинами, уставленную шкапами, пальмами и бронзой, на один из проспектов былого Петербурга и стояло с полной пригоршней огоньков в вытянутой руке, чтобы прометнуть их во всю длину перспективы, как внезапно ударил телефон. Его булькающее дребезжанье, отзывавшееся полем или захолустьем, мгновенно напомнило, что проволока пробралась сюда городом, погруженным в абсолютный мрак, и дело происходит в провинции под большевиками.

— Да,—вероятно, прикрыв глаза рукою, отвечал недовольный, нетерпеливый и смертельно утомленный человек.—Да. Знаю. Знаю. Вздор. Проверь по линии. Вздор. Я сносился со штабом. Жмеринка отвечает уже с час. И это все? Да, буду и скажу. Да нет, через минут двадцать. Все?

— Ну-с, товарищ,—с коробком в одной руке и синенькой каплей плюющегося серного пламени в другой обратился он к посетительнице.

И тогда, почти одновременно со стуком упавших и рассыпавшихся спичек, раздался ее раздельный, волнующийся шопот.

— Леля!—сам не свой вскричал Поливанов.—Не может быть—виноват. Да нет же—Леля?!

— Да... да... Здра... Дайте успокоюсь... Вот бог привел,—однообразно задыхаясь и плача, шептала она.

Вдруг все исчезло. При свете затепленной масленки стояли друг против друга съеденный острым недосыпаньем мужчина в короткой куртке нараспашку и грязная, давно не умывавшаяся женщина с вокзала. Молодости и моря как не бывало. При свете масла ее приезд, смерть Дмитрия и дочки, о су-

ществовании которой он не знал, и, словом, все рассказанное ею до огня оказалось удручающею по своей обязательности правдой, приглашавшей слушателя и самого в могилу, коль скоро его сочувствие—не пустые слова. Взглянув на нее при свете масла, он тотчас же припомнил ту историю, по причине которой, встретясь, они сразу не расцеловались. И, невольно усмехнувшись, он подивился живучести таких предубеждений. При свете масла рухнули все ее надежды на убранство кабинета. Человек же этот показался ей так чужд, что этого чувства нельзя было приписать никакой перемене. Тем решительнее приступила она к своему делу и опять, как когда-то, бросилась его исполнять слепо и наизусть, как чужое порученье.

— Если вам дорог ваш ребенок...—так начала она.

— Опять!—мгновенно вспыхнул Поливанов и пошел говорить, говорить, говорить—быстро и безостановочно.

Он говорил, точно статью писал—с „которыми" и с запятыми. Он похаживал по комнате и останавливался, и разводил и потрясал руками. В промежутках, морща и собирая тремя пальцами кожу над переносицей, он бередил и растирал это место, как очаг иссякающего и разгорающегося негодованья. Он умолял ее перестать считать, что люди ниже ее выдумок и ими можно помыкать себе в угоду. Он заклинал ее всем, что свято, не нести никогда больше этой околесной, особенно после того, что и сама она тогда же в обмане созналась. Он говорил, что если даже и допустить эту чушь, так ведь она достигает совсем обратной цели. Нельзя никак вдолбить человеку, что то, чего у него минуту назад не было и вдруг явилось, есть не находка, а утрата. Он припоминал, какую беззаботность и свободу сразу испытал он, лишь только поверил ее басне, и как тотчас же пропала у него всякая охота к дальнейшему обшариванию рвов и канав, а захотелось купаться. Так что даже если бы времена потекли вспять,—попробовал съязвить он,—и снова стало бы нужно искать одного из членов ее семейства, то и в таком случае он стал бы себя беспокоить только ради нее, или игрека, или зета, а никак не для себя или ее смехотворных...

— Вы кончили?—сказала она, дав ему уходиться.—Ваша правда. Я от слов своих отступилась. Неужели вы не пони-

маете? Пусть это подло и малодушно. Я была без ума от радости, что мальчик нашелся. И как чудесно. Вы помните? Стало ли бы у меня после этого духу разбивать свою и Дмитриеву жизнь? Я и отреклась. Но речь не обо мне. Он ваш. Ах, Лева, Лева, и если бы вы знали, в какой он сейчас опасности! Не знаю, как и начать. Давайте по порядку. С того дня мы не видались с вами. Вы его не знаете. А он так доверчив. Это его когда-нибудь погубит. Есть такой негодяй, авантюрист,—впрочем, бог ему судья,— Неплошаев, Тошин товарищ по корпусу...

При этих словах шагавший по комнате Поливанов встал, как вкопанный, и перестал ее слышать. Она назвала имя, среди многого другого произнесенное недавно шептавшимся солдатом. Он знал это дело. Оно было безнадежно для обвиняемых, и дело было только в часе.

— Он действовал не под своей фамилией?

Она побледнела, услыхав этот вопрос. Значит, он знает больше нее, и дело хуже, чем даже она себе рисовала. Она забыла, в чьем стане находится, и, вообразив, что весь грех в вымышленном имени, бросилась выгораживать сына с совсем ненужной стороны.

— Но, Лева, не мог же он открыто отстаивать...

И опять он перестал ее слышать, поняв, что ее ребенок может крыться за любой из фамилий, известных ему по бумагам, и стоял у стола и куда-то звонил и что-то узнавал, и от соединения к соединению уходил все глубже и дальше в город и в ночь, пока перед ним не разверзлась пропасть последней и окончательной правильной информации.

Он оглянулся кругом. Лели в комнате не было. Он испытывал страшную ломоту в глазницах, и когда обводил взглядом комнату, она плыла перед ним сплошными сталактитами, ручьями. Он хотел собрать кожу на переносице, но вместо этого провел рукой по глазам, и от этого движения сталактиты заплясали и стали расплываться. Ему легче было бы, если бы спазмы их не были так часты и беззвучны. Потом он нашел ее. Она громадною неразбившеюся куклой лежала между тумбочкой стола и стулом на том самом слое опилок и сора, который в темноте, и пока была в памяти, приняла за ковер.

1924

Повесть

I

В начале 1916 года Сережа приехал к сестре в Соликамск. Вот уже десять лет передо мною носятся разрозненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать.

Но читателю лучше забыть об этих версиях, а то он запутается в том, кому из лиц какая, в окончательном розыгрыше, досталась доля. Часть их я переименовал; что же касается самих судеб, то, как я нашел их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся, и между романом в стихах под названием „Спекторский", начатым позднее, и предлагаемой прозой разноречья не будет: это—одна жизнь.

Собственно, приехал он не в Соликамск, а в Усолье. Город белел и грудился на другом берегу, и с заводского берега, из кухни заново отремонтированной докторовой квартиры с первого же дня очень легко было понять, чем он стоит и для чего и с какой стати. Крутой торговый камень собора и казенных зданий мерцал и пасся, шарахнутый врассыпную подрывными припасами сытости, порохом довольства. Сводя в опрятные квадраты это заречное зрелище руки Грозного и Строгановых, оконца у доктора сияли так, точно именно в честь этой дали было сбито и мешочками сливочной пенки развезено по дереву свежее масло малярных белил. Так оно, впрочем, и было,—с худых прорешливых палисадников конторской слободы нечего было взять.

По кустам, воронам в подмогу, ковырялась оттепель. В воде черных зажор стояли одинокие звуки. Свистки маневренного паровика на Веретьи сменялись голосами игравших де-

тей. Таратор топоров с ближайшего эксплоатационного квартала мешал вслушаться в смутную органную возню далекого завода. Она скорее воображалась, внушенная видом его пяти дымовых шапок, нежели действительно могла быть слышима. Ржали лошади, лаяли собаки. Щепотинкой на нитке повисал, оборвавшись, крик сиплого петушка. А с далекого притока, где из-под сугробов торчали сонные усы спеленутого лозняка, исподволь набегала задорная скоропалка динамомашины. Звуки были скудны и казались пьяными, потому что плавали по колеям. Между ними торжественно и разгульно разверзались умолчанья зимней равнины. Она таила где-то невдалеке и, по здешним уверениям, чуть ли не в соседней деревне первые отроги Урала. Она их прятала, как дезертиров.

Брат столкнулся с сестрой на ее выходе,—она собралась куда-то по хозяйству. Позади нее стояла рыластая девочка в криво стянутом полушубке. Сестра швырнула кошёлку на подоконник, и, пока они обнимались и шумели, девочка, с чемоданом в подхват, болтая вихлявыми валенками, вихрем понеслась в глубь комнат, на крену, как пущенный обруч, обегая стол в столовой. Скоро под градом сестриных расспросов Сережа стал казанским мылом неловко и отвычно отмывать грязные следы двухсуточной бессонницы, и тут, с полотенцем на плече, сестра увидела, как он вырос и исхудал. Потом он побрился. Самого Калязина в этот служебный час дома не было, а его бритвенница, принесенная Наташей из спальни, смутила Сережу полнотою набора. В светлой столовой благодатно пахло колбасой. В черный лак фортепьян разъяренно протягивались кулачки тринадцатипалой пальмы, и ломилась, грозя высадить доску, медная ярь привинченных подсвечников. Поймав взгляд Сережи, скользнувший по туалетно-молочным отливам клеенки, Наташа сказала:

— Это от Пашина предшественника. Обстановка вся казенная.—Потом, замявшись, прибавила:—Страшно интересно, как ты найдешь детей. Ты ведь их знаешь только по карточкам.

Их с минуты на минуту ждали с гулянья.

Он принялся за чай и, подчиняясь Наташе, выложил ей, что смерть матери потрясла его полной неожиданностью. Скорей он ее страшился тем летом, когда, как он выразился, она действительно была при смерти, и он туда ездил.

— Как же, перед экзаменами. Мне писали,—вставила Наташа.

— Ах, да!—подхватил он, чуть не поперхнувшись.—Ведь я и в самом деле их сдавал! Чего стоило их сдать, а ведь университет как тряпкой стерло.

Продолжая уминать клеклый мякиш калача и отхлебывая из стакана, он рассказал, как приступил было к подготовке весной, вскоре после ее московского гощенья, но пришлось бросить: болезнь матери, поездка в Питер и много еще чего (тут он снова все это перечислил). Но потом за месяц до зимней сессии одумался, и всего труднее было с постоянными отвлечениями, с детства вошедшими в навык. Его обидело, что в словах о „десяти талантах, что хуже одного, да верного", сестра не признала поговорки, пущенной по семье покойным отцом, и нарочно про него.

— Ну, как же?—спеша замять неловкость, спросила Наташа.

— Чего—как же? Гнал день и ночь, вот и все,—и он стал уверять, что никакое наслажденье не сравнится с такой гонкой, причем назвал ее экзальтацией недосуга. По его словам, только мозговой этот спорт и помог ему справиться с прирожденными искушениями, главное же с музыкой этой, которая с тех пор и в загоне. И чтобы сестра не успела опять чего вставить, он быстро и без видимого перехода сообщил, что Москва встретила войну в разгаре строительной горячки, и сперва работы продолжались, а теперь кое-где и вовсе приостановлены, так что много домов останется навсегда недостроенными.

— Отчего же навсегда?—возразила она.—Разве ты ей конца не чаешь?

Но он отмолчался, полагая, что тут, как и везде, разговор о войне, то есть о полной непредставимости мира, будет не однажды, и Калязин, вероятно, главным по этой части разливальщиком.

Вдруг ей бросилась в глаза нездоровая догадливость, с которой Сережа все чаще и удачнее стал предупреждать ее любопытство. Тогда она поняла, как он измучен, и, бессознательно спасаясь от этого чтенья в мыслях, предложила ему раздеться и соснуть. Тут им неожиданно помешали. Раздалось

слабенькое дребезжание звонка. Полагая, что это дети, Сережа сунулся было за сестрой, но, отмахиваясь и что-то бормоча, Наташа скрылась в спальню. Сережа подошел к окну и, заложа руки за спину, уставился глазами в пространство.

В состояньи победоносной рассеянности он пропустил мимо ушей неистовства, начавшиеся рядом. Надрываясь из последних сил и приложив руку к трубке, Наташа вдалбливала какие-то любезности в те самые просторы, что стлались перед братом. К бесконечному забору, тянувшемуся в конце слободы, равномерно и увесисто уходил человек, замечательный лишь тем, что кругом не было ни души и никто ему не попадался навстречу. Следя без смысла за удалявшимся, Сережа мысленно увидел лесистый кусок недавно совершенного пути. Он увидал станцию, пустой буфет с досками на козлах вместо стойки, горы за семафором и прохаживающихся, бегающих взапуски и борющихся на той бугристой снеговине, что отделяла холодные вагоны от горячих пирогов. В это время шагавший миновал забор и, свернув за него, пропал из виду.

Между тем в спальне произошли перемены. Крик по телефону кончился. Облегченно откашливаясь, Наташа осведомлялась, когда будет готова кофточка, и объясняла, как ее шить.

— Ты догадался?—сказала она, войдя и уловив внимательность братнина взгляда.—Это—Лемох. Он тут по делам своего завода и вечером собирается к нам.

— Какой Лемох? Зачем ты кричишь?—вполголоса перебил ее Сережа.—Можно было предупредить. Когда громко празднословишь, точно один в квартире, а за дверью человек работает, ему обидно. Надо было сказать, что у тебя портниха.

Недоразуменье сперва пошло в рост, а потом сполна разъяснилось. Оказалось, что никого в спальне нет, а когда Наташу разъединили с собеседником, еще более отдаленным, она разговорилась с телефонисткой, выключившей линию и сидевшей далеко в конторе на другом конце поселка.

— Милейшая девушка,—прибавила Наташа.—Между прочим шьет: жалованья не хватает. Она тоже будет. Хотя неизвестно, к ней с фронта приехали.

— Знаешь,—неожиданно объявил Сергей,—я, пожалуй, и правда прилягу.

— Вот и хорошо,—быстро согласилась сестра и повела его в комнату, с самого Сережина письма для него приготовленную.—Удивительно, как тебя освободили,—заметила она на ходу, вполоборота оглядывая брата,—ведь ты нисколько не хромаешь.

— Вот представь, и ведь без возражений, всей комиссией. Что ты делаешь?—воскликнул он, увидев, что сестра собирается ему стлать и стягивает с кровати покрывало.— Оставь, я—одевшись. Не надо.

— Ну, как знаешь,—уступила она и, оглядев по-хозяйски комнату, сказала с порога:—Спи вволю и не стесняй себя; я позабочусь, чтобы не шумели; в крайности мы пообедаем одни, а тебе согреют. А вот что ты Лемоха забыл, так это с твоей стороны непростительно; очень-очень интересный человек и достойный и очень тепло и правильно о тебе отзывался.

— Но что же мне делать?—взмолился Сергей.—Никогда не видал и в первый раз слышу.

Ему показалось, что и дверь за сестрой затворилась с тихой укоризной. Он отстегнул помочи и, присев на кровать, стал распускать шнурки на ботинках.

С тем же поездом на короткую побывку в Веретье приехал отпускной матрос с миноносца „Новик". Звали его Фардыбасов. Он отнес прямо со станции свой сундучок в контору, чмокнулся с родственницей, там служившей, и тут же, круша лед и разбрасывая воду, крупным шагом направился к Механическому. Тут он произвел фурор своим появлением. Однако, не найдя в обступившей его толпе того, кого шел добывать, и узнав, что Отрыганьев теперь работает на одном из новых, недавно поставленных производств, он тем же шагом повалил на Второй подсобный, который вскоре и отыскался за складскими заборами, в вилке узкоколейки. Она гаденькой каемкой ползла по краям срывчатой низины и пугала своей видимой беззащитностью, потому что у лесной опушки вдоль нее похаживал часовой с ружьем. Сбежав с дороги, Фардыбасов полетел полем вниз, перемахивая с бугра на бугор и скрываясь в завьялых яминах летнего происхождения. Потом он

стал подыматься на изволок, где стоял деревянный барак, отличавшийся от обыкновенного сарая только тем, что забрасывал частыми паровыми пышками, как снежками, тишину, здесь царившую.

— Отрыганьев!—подбежав к порогу и хлопнув ладонью по верее, гаркнул отпускной в глубину строения, где несколько мужиков переволакивали с места на место какие-то кули и бушевал, одним лишь этим тесом, как чехлом, охраненный от поля, здоровенный двигатель с застывшим в молниеносном полете маховиком. Под ним плясал, чмякал стержнями и приседал, проваливался под пол и выбрасывал назад вывихнутую голяшку сумасшедший рычаг шатуна, одной этой дрыготней державший в страхе все сооруженье.

— Каких соков дерьмо гонишь?—с первого же приветствия спросил приезжий колченого увальня, который вырос у двери, впривалку с сухой ноги на здоровую приковыляв от машины.

— Еремка!—только и успел выпалить подошедший, сразу схваченный приступом горького, крупной крошки, махорочного кашля.—Хролофор,—пропитым до чахотки голосом прогорланил он и только мотнул рукой, зайдясь пароксизмом нового скрипучего удушья.

— Смолосады, подумашь!—любовно усмехнулся матрос, дожидаясь конца приступа.

Но не дождался, потому что в это время двое из татар, отделясь от остальных, быстро вскарабкались друг за другом по приставной лестнице наверх и стали сыпать известь в мешалку, отчего поднялся невообразимый грохот и все помещенье заволокло клубами белой, раскраивающейся пыли. И вот в этом облаке Фардыбасов принялся орать, что его время писарь съел,—считанные, дескать, дни,—и стал тут же подбивать приятеля на то самое, зачем ломил сюда без дороги со станции, то есть на охоту на весь свой отпускной срок.

А по прошествии некоторого времени, проведенного в любовном глумленьи над подучетными, военнообязанными и заводами, работающими на оборону, как уходить, Фардыбасов рассказал, как недавно, под самое рождество, они ночью на выходе из Финского напоролись на минное поле германца

и взорвались, что было враньем и бахвальством только в личностях, потому что рассказчик был с „Новика“, а подымал хобота, рыл пучину и опускался, заводя на себе водяную петлю дикой глубины и тугости, другой миноносец отряда.

Темнело, подмораживало, в кухню подавали воду. Приходили дети, на них шикали. Временами извне к дверям подкрадывалась Наташа. Но Сереже не спалось, он только притворялся спящим. За стеной, на стороне, всем домом перебирались из сумерок в вечер. Под вещевую „дубинушку“ полов и ведер Сережа думал, как все будет неузнаваемо при огне, в конце передвиженья. Точно он в другой раз приедет, и притом выспавшись, что всего важнее. А предвкушаемая новизна, уже кое в чем вызванная лампами к существованию, копошилась и погрохатывала, переходя от воплощенья к воплощенью. Она детскими голосками спрашивала, где дядя и когда он опять уедет, и, наученная делать страшные глаза, сама уже затем проникновенно шикала на ни в чем не повинную Машку. Она стаей материнских увещаний носилась в суповом пару, шлепая крыльями по передникам и тарелкам. Никакие препирательства ей не помогли, когда ее снова укутали, кропотливо и раздраженно, и стали выпроваживать на новую прогулку, торопя из сеней, чтобы не напускать в дом холоду. И не скоро, многим поздней, воплотилась она в басистое вторженье Калязина и его палки и его глубокие, за десять лет брака все еще не поддавшихся никакому вразумленью, калош.

Чтобы приманить сон, Сережа упорно старался увидать какой-нибудь летний полдень, первый, какой подвернется. Он знал, что если бы такой образ ему явился и он его удержал, виденье склеило бы ему веки и храпом бросилось бы в ноги и в мозг. Но он лежал и давно уже держал зрелище июльского жара перед самым носом, как книжку, а сон все не жаловал. Случилось так, что лето подобралось четырнадцатого года, и это обстоятельство нарушило все расчеты. На это лето нельзя было глядеть, всасывая заволоченными глазами усыпительную явственность, а приходилось думать, перенесясь от воспоминанья к воспоминанью. Та же причина разлучит и нас надолго с усольской квартирой.

Итак, именно отсюда давались порученья Наташе, когда с их списком, слепым от мелких приписок и частого перечеркиванья, она бегала по Москве в свой приезд весной тринадцатого года. Она останавливалась у Сережи, и теперь по запаху строевого леса, по гутору окружной тишины и по состоянию дорог в поселке он воображал, что уже видит в лицах, кого одолжала сестра, по целым дням пропадая из комнаты на Кисловке. Служащие действительно жили дружно, одной семьей. Ее поездка тогда была даже оформлена в служебную, с мужа на жену переписанную командировку. Такой вздор был мыслим только потому, что все звенья отвлеченной цепи, кончавшейся суточными и прогонными, были живыми людьми, поголовно между собою породненными той теснотою, в какой всем им, как на островке, приходилось жаться на своей разнообъемной грамотности среди трехтысячеверстных повально неграмотных снегов. Пользуясь оказией, дирекция облекла ее даже полномочьями на уяснение каких-то, впрочем, пустяковейших и легко разрешимых по почте неулаженностей, почему Наташа и хаживала на Ильинку, придавая этим посещеньям очень двойственное обличье. Она заключала эти прогулки в подчеркнуто комические кавычки, в то же время давая понять, что в кавычки ею заключены дела министерской важности. А в свободные часы, и больше по вечерам, она навещала своих и мужниных друзей былой московской поры. С ними она ходила по театрам и концертам. Подобно отлучкам в правленье, она и этим развлеченьям сообщала видимость дела, но только такого, которое никаких кавычек не допускало. Это оттого, что с людьми, с которыми она теперь делила посещенье Художественного и Корша, ее связывало когда-то большое прошлое. Доступное, при желаньи, восхищенным пониманьям при каждом новом перетряхиваньи стариной, оно теперь оставалось единственным доводом их взаимного друг до друга касательства. Они встречались, крепко спаянные его давностью, и одни стали врачами, другие инженерами, третьи же пошли по адвокатуре. Те, которым не пришлось возобновить временно прерванного ученья, работали в „Русском слове“. Все обзавелись семьями, у всех, кроме определившихся по литературной части, были дети. Не все, разумеется, были похожи друг на друга, и жили никак не

кучею, а врозь кто на какой улице, и, отправляясь к одним, Наташа с Кисловки выходила к остановке трамвая на Воздвиженку, а собравшись к другим, шла пешком по Газетному, Камергерскому и так далее, пересекая улицы одну другой кривее, жилистей и толкучей.

Надо также сказать, что, за исключением одного раза в Георгиевском переулке, куда надо было завернуть за друзьями по дороге на сборный концерт с чтеньем Чехова и певцами, в этот Наташин наезд между знакомыми о прошлом не говорилось. Да и в этот раз, едва Наташа развспомнилась, обнаружив в туалетной шкатулке приятельницы красный галстук времен высших женских курсов, как последняя, которую она же и поторапливала, справилась с нарядом, и, отвалив от зеркала, где уже стали колыхаться воскрешенные образы, они втроем с мужем приятельницы кубарем выкатились на зеленый, зеркалом холодевший воздух весеннего вечера. О прошлом не говорили и потому, что в глубине души все они знали, что революция будет еще раз. В силу самообмана, простительного и в наши дни, они представляли себе, что она пойдет, как временно однажды снятая и вдруг опять возобновляемая драма с твердыми актерскими штатами, то есть с ними со всеми на старых ролях. Заблужденье это было тем естественнее, что, глубоко веря во всенародность своих идеалов, они были все же такого толка, что считали нужным эту уверенность свою поверять на живом народе. И тут, убеждаясь в полной, до известной поры, бытовой причудливости революции на широкий, рядовой русский взгляд, они могли справедливо недоумевать, откуда бы взяться еще новым охотникам и посвященным в таком обособленном и тонком деле.

Как все они, Наташа верила, что лучшее дело ее юности только отложено и, как пробьет час, ее не минует. Этой верой объяснялись все недостатки ее характера. Этим объяснялась ее самоуверенность, смягченная лишь полным Наташиным неведением о таком своем изъяне. Этим также объяснялись те черты беспредметной праведности и всепрощающего понимания, которые неистощимым светом озаряли Наташу изнутри и были ни с чем не сообразны.

По родне она узнала, что у Сережи что-то такое поделалось. Надо заметить, что ей было известно все, начиная от

имени Сережиной избранницы вплоть до того, что Ольга замужем и в счастливом браке с инженером. Она ни о чем не стала расспрашивать брата. Поступивши так из общелюдского приличия, она, однако, тут же, как светлая личность, себе это вменила в особую кастовую заслугу. Она ни о чем не стала расспрашивать Сережу, но, вся дыша сознаньем прямой подведомственности его истории тому вдумчивому и чуткому началу, которое собой олицетворяла, ждала, чтобы, не снеся замкнутости, он излился перед нею сам. Она притязала на его внезапную исповедь, ожидая ее с профессиональным нетерпением, и кто осмеет ее, если примет в расчет, что в братниной истории имелась и свободная любовь, и яркая коллизия с житейскими цепями брака, и право сильного, здорового чувства, и, бог ты мой, чуть ли не весь Леонид Андреев. Между тем на Сережу пошлость под запрудою действовала хуже глупости, безудержной и искрометной. И когда он раз не выдержал, то его уклончивость сестра истолковала посвоему, а из его мешковатых недомолвок узнала, что у любящих все расстроилось. Тогда чувство компетенции только возросло у ней, потому что к увлекательному инвентарю, приведенному выше, прибавилась и обязательная, по ее понятиям, драма. Потому что, как ни далек был ей брат, опоздавший родиться на пять лет с месяцами против ее поколенья, были глаза и у ней, и она видела, да и не ошибалась, что никакие проказы и шалости Сереже не присущи. И только слово драма, разнесенное Наташею по знакомым, было не из братнина словаря.

II

Много-много чего оказалось вдруг за плечами у Сережи, когда с последнего благополучно сданного экзамена он точно без шапки вышел на улицу и, оглушенный случившимся, взволнованно осмотрелся кругом. Молодой извозчик, вскинутым сапожищем распяливая кафтан, сидел боком на козлах, исподволь поглядывая под лошадь, и, всецело полагаясь на беспамятную чистоту мартовского воздуха, равнодушно караулил окрик с любого конца большой площади. Подневольным слепком с его вольного ожиданья помаргивала в оглоблях серая в яблоках кобыла, как бы самим рокотом мостовых сильно на

вынос вложенная в хомут, за дугу. Все кругом подражало им. Орленная чистым булыжником, круглая мостовая походила на гербовый, тумбами и фонарями уставленный документ. Дома стояли, возведенные на пустой предвесенней настороженности, как на упругом фундаменте из четырех резиновых шин. Сережа оглянулся. За оградой, в одном из серейших и самых слабостойных фасадов праздно и каникулярно тяжелела дверь, только что тихо затворившаяся за двенадцатью школьными годами. Именно в эту минуту ее замуровали, и теперь навсегда. Он пошел домой. Щемящей студености холостая заря нежданно ломанула по Никитской. Камень свело мерзлым пурпуром. Он совестился глядеть на встречных. Все случившееся было написано на лице у него, и прыгающая улыбка, величиной со всю, того часа, московскую жизнь, владела его чертами.

На другой день он отправился к тому из своих приятелей, который, учительствуя в одной из женских гимназий, знал по службе, что делается в других. Зимой он как-то говорил Сереже об освобождающейся на весну вакансии словесника и психолога в частной гимназии на Басманной.

Сережа терпеть не мог словесности и школьной психологии. Кроме того, он знал, что в женской гимназии ему не служить, потому что пришлось бы изойти среди девочек страшным паром без всякого для кого-нибудь ведома и пользы. Но, вконец измотанный экзаменационными волнениями, он теперь отдыхал, то есть позволял дням и часам переставлять его, куда им вздумается. Точно кто кокнул тогда под университетом банку с вареньем из вербы, и, увязнув вместе со всем городом в горькошерстой ягоде, он отдался поколыхиванью ее тугих, оловянных складок. Вот каким образом и побрел он в один из переулков Плющихи, где проживал в номерах названный приятель.

Номера обложились от остального света огромным двором для извозчиков. Вереница пустых пролеток подымалась к вечернему небу костяным хребтом какого-то сказочного позвоночного, только что освежеванного. Здесь сильнее, чем на улице, чувствовалось присутствие новой дали, голой, сердобольной, и было много навоза и сена. Особенно же много было тут той именно сладкой серости, на волнах которой прибыл сюда Сережа. И вот, как подмыло его в дымные номер-

ные разговоры, подпертые с улицы троерукиим керосиновым фонарем, так понесло в следующие же сумерки на Басманную, в оловянные разговоры с начальницей, под которыми топырилось ветвистое карканье большого запущенного сада, полного частной женской серебристо-мышиной и кое-где уже разобранной граблями земли.

Как вдруг, неизвестно в честь чего, по одному из оловянных изворотов последней недели он очутился во фрестельнском особняке воспитателем хозяйского сына, и тут остался, отряся олово с ног своих. И неудивительно. Его взяли на всем готовом, предложив сверх того оклад вдвое больше учительского, огромную трехоконную комнату об стену с учениковой и полное пользование досугом, какой ему заблагорассудится для себя отвесть без ущерба для занятий с воспитанником. Так что разве только не подарили ему всего суконного фрестельнского дела, а то никогда еще в жизни не случалось ему налегке, в мягкой шляпе (он получил большой задаток), от чаю и книг, прямо с мрамора попадать в булочный вар солнечного переулка, парою кривых тротуаров бодро несшегося под уклон на площадь, прятавшуюся внизу за поворотом. Это было в Самотеках, и, несмотря на малую прохожесть околотка, у Сережи в первую же прогулку случилось две встречи. Первым, и по другому тротуару, прошел молодой человек из бывших на памятном вечере у Бальца. Их было там два брата, и старший был инженер, а младший говорил, что по окончании коммерческого ему служить, и не знал, итти ли вольноопределяющимся, или же по жребию. Теперь он был в форме вольноопределяющегося, и как раз то, что он был в солдатской форме, так стеснило Сережу, что он только поклонился прошедшему, а не остановил его и не перешел через дорогу. Не сделал того и вольноопределяющийся, потому что ему передалось через дорогу Сережино стесненье. К тому же Сережа не знал, как фамилия братьев, потому что их друг другу не представили, и он только помнил, что старший—очень уверенный в себе человек и, вероятно, удачник, а младший—молчаливее и гораздо милее.

Другая встреча произошла на одном тротуаре. На него налетел добродушный толстяк, редактор одного из петербургских журналов, Коваленко. Он знал Сережины работы и одоб-

рял их и, между прочим, собирался при помощи Сережи и нескольких других, ранее облюбованных причудников обновлять свое начинание. Об этом вливании живых сил и прочей чепухе он говорил с неизменною усмешкой. Она и вообще была ему свойственна сверх меры, потому что повсюду ему мерещились смешные положенья, и этою иронией он себя от них ограждал. Уклоняясь от Сережиных любезностей, он спросил, чем тот в данное время занят, и, с двухэтажным фрестельнским особняком на языке, Сережа во-время его прикусил, быстро соврав на всякий случай, что увлечен новой повестью. И так как Коваленко обязательно должен был его спросить о замысле, то он тотчас же в уме принялся ее сочинять.

Но Коваленко этого вопроса не задал, а уговорился встретиться с Сережей через месяц, в следующий свой наезд в Москву, и, безо всякой расстановки что-то быстро лопоча про друзей, в полупустующей квартире которых останавливается, быстро записал на отрывном листке их адрес. Сережа принял его не глядя и, сложив вчетверо, сунул в карман жилета. Ироническая улыбка, с которой все это проделал Коваленко, ничего Сереже не сказала, потому что она была от говорившего не отделима.

Расставшись со своим доброхотом, он в обход направился в особняк, чтобы не итти с человеком, беседа с которым закончилась так кругло и естественно. Между прочим, он тут же подивился ветру, сразу поднявшемуся в его голове. Он не заметил того, что это не ветер, а продолжение несуществующей повести, заключавшееся в постепенном улетучиваньи встречи и адреса и всего случившегося. Он также не знал, что сюжетом ей служит его бросающаяся мыслями умиленность, умилен же он тем, что кругом так хорошо и что ему так повезло с экзаменами, со службой и со всем на свете.

Его поступленье к Фрестельнам совпало с временем, когда особняк был весь в переменах. Часть их произошла до Сережи, часть еще предстояла. Незадолго перед тем супруги отссорились, наконец, полным на всю жизнь итогом и зажили разными этажами. Половину низа, через сенную площадку направо от детской и Сережиной половины, занял хозяин. Хозяйка раскатилась по всему верху, где кроме трех ее ком-

нат, не считая гостиной, были еще большая двухсветная зала с помпейским атриумом и столовая с прилегавшей к ней буфетной.

Весна в тот год подошла рано и уже клубилась горячими сдобными полднями. Она на всех парах обгоняла календарь и давно уже побуждала к летним сборам. У Фрестельнов было именье в Тульской губернии. Хотя покамест особняк только отдувался проветриваньем сундуков и чемоданов по жарким утрам, но с парадного уже прибывали дамы, матери семейств, кандидатки в нынешние дачницы. Старых съемщиц встречали, как дорогих покойниц, чудесно возвращенных родне, с новыми толковали о каменных флигелях и деревянных дачах и еще в вестибюле на прощанье долбили о прославленных особенностях алексинского воздуха, необыкновенной какой-то сытности и об окских красотах, которыми, сколько их ни хвали, все равно не нахвалиться. Все это, впрочем, было истинною правдой.

А на дворе выколачивали ковры, глыбами нутряного сала стояли облака над садом, и клубы щелкучей пыли, садясь на жирное небо, сами, казалось, заряжали грозою воздух. Но по тому, как, утирая лицо, поглядывал на небо дворник, весь в ковровом сору, точно в волосяной сетке, видно было, что дождя не будет. В люстриновом пиджаке взамен фрака, с колотушкой под мышкой проходил через вестибюль во двор лакей Лаврентий. И, видя все это, вдыхая запах нафталина и ловя мимоходом обрывки дамских разговоров, Сережа не мог отделаться от чувства, будто особняк уже снарядился в путь, и вот-вот поднырнет под горький, мокро трепещущий, знойно-лавровый березовый шатер. Кроме всего изложенного, камеристка госпожи Фрестельн, не заговаривая пока еще о расчете, собиралась уходить и, приискивая себе место, отлучалась без разбору во все дни, выходов от невыходных не отличая. Звали ее Анна Арильд Торнскьольд, а в доме, для краткости,—миссис Арильд. Она была датчанка, ходила во всем черном, и видеть ее в положеньях, в какие ее часто ставили обязанности, было тяжело и странно.

Именно так, в духе гнетущей странности, она себя и держала, широкой походкой в широкой юбке пересекая залу

по диагонали, с высокой прической узлом, и сочувственно, как сообщница, улыбалась Сереже.

Таким образом незаметно настал день, когда, обожаемый учеником и состоя в задушевной дружбе с хозяевами,—относительно которых только нельзя было решить, кто милее, потому что, заменяя этим уничтоженную связь, они врозь друг друга перед Сережей оговаривали,—с книгой в руке, предоставив питомцу гоняться по двору за кошкой, он перешел со двора в сад. Дорожки, как сором, были затрясены обившейся сиренью, и только на теневой стороне доцветало еще два-три куста. Под ними усердно писала, положив локти на стол и склонив голову набок, миссис Арильд. Ветка в пепельных четырехгранниках, чуть покачиваемая лиловым бременем, старалась заглянуть из-за затылка пишущей в писанье, но без пользы. Писавшая заслоняла письмо и корреспондента от всего мира широким, трижды скрученным узлом своих невесомых светлокаштановых волос. На столе вперемежку с рукодельем была разложена вскрытая почта. По небу плыли легкие, цвета сирени и почтовой бумаги, облака. Оно их охлаждало, и само было, как серая сталь. Заслышав чужие шаги, миссис Арильд сперва тщательно осушила промокашкою написанное, а потом спокойно подняла голову. Рядом с ее скамейкой стоял железный садовый стул. Сережа опустился на него, и между ними по-немецки произошел следующий разговор:

— Я знаю Чехова и Достоевского,—обвив руками спинку скамейки и прямо глядя на Сережу, начала миссис Арильд,—и пятый месяц в России. Вы хуже французов. Вам надо наделить женщину какой-нибудь скверной тайной, чтобы поверить в ее существование. Точно на законном свету она нечто бесцветное, вроде кипяченой воды. Вот когда она скандальной тенью вскочит откуда-нибудь изнутри на ширму, тогда другое дело, об этом силуэте уже не спорят, и ему нет цены. Я не видала русской деревни. А в городах ваша падкость к закоулкам показывает, что вы живете не своей жизнью, и, каждый по-разному, тянетесь к чужой. Не то у нас в Дании. Постойте, я не кончила ...

Тут она отвернулась от Сережи и, заметив на письме ворох осыпавшейся сирени, заботливо ее сдула. Спустя мгно-

веньє, справившись с какой-то непонятною заминкой, она продолжала:

— Прошлой весной в марте я потеряла мужа. Он умер совсем молодым. Ему было тридцать два года. Он был пастором.

— Послушайте,—все-таки успел перебить ее Сережа по-заготовленному, хотя теперь хотел сказать уже совсем не то,— я читал Ибсена и вас не понял. Вы заблуждаетесь. Несправедливо по одному дому судить о целой стране.

— Ах, так вы вот о чем? Вы о Фрестельнах? Хорошего же вы мненья обо мне. Я дальше от таких ошибок, чем вы, и сейчас вам это докажу. Догадались ли вы, что они евреи, и только это от нас скрывают?

— Какой вздор! Откуда вы это взяли?

— Вот видите, как вы ненаблюдательны. А я в этом убеждена. Оттого, может быть, я и ненавижу ее так непобедимо. Но не отвлекайте меня,—с новым жаром начала она, не дав Сереже во-время заметить, что по отцу эта ненавистная кровь течет в нем самом, между тем как в особняке этим и не пахнет, вместо чего, и опять по-заготовленному, он успел все-таки вставить, что все ее мысли о сластолюбьи— живой Толстой, то есть самое русское из всего, что достойно этого званья.

— Не в этом дело,—спеша пресечь спор, нетерпеливо отрезала она и быстро пересела поближе к Сереже на край скамейки.—Послушайте,—взяв его за руку, проговорила она в сильном возбуждении.—Вы состоите при Гарри, но я уверена, что вас не заставляют обмывать его по утрам. Или еще бы вам предложили делать старику ежедневные обтиранья.

От неожиданности Сережа упустил ее руки.

— Зимой в Берлине ни о чем таком не было ни слова. Я ходила договариваться с ней в отель „Адлон“. Я нанималась в компаньонки, а не в горничные, не правда ли? Вот я сижу перед вами—здравый, рассудительный человек,—вы согласны? Но не отвечайте пока. Место было в далекий отъезд, в неизвестность. И я согласилась. Ясно ли вам, как меня обошли? Я не знаю, чем она мне приглянулась. С первого взгляда я ее не разобрала. И потом ведь все это родилось по ту сто-

рону границы, за Вержболовым... Нет, погодите, я не кончила. Я возила Арильда в Берлин на операцию. Он скончался у меня на руках, я там его похоронила. У меня нет родни. Я сейчас сказала неправду. Есть, но об этом как-нибудь потом. Я была в ужасном состоянии и совсем без средств. И вдруг—ее предложенье. Я о нем прочла в газете. И—по какой случайности, если бы вы знали!

Она отодвинулась на середину скамьи, сделав Сереже неопределенный знак рукою.

По стеклянной галлерее, соединявшей особняк с кухнею, прошла госпожа Фрестельн. За нею следовала экономка. Сережа тут же раскаялся, что недостойным образом истолковал движенье миссис Арильд. Она не предполагала ни от кого таиться. Наоборот, возобновив разговор с ненатуральной поспешностью, она повысила голос и внесла в него ноту насмешливого высокомерья. Но госпожа Фрестельн их не слышала.

— Вы обедаете наверху, с ней и с Гарри, и с гостями, когда бывают гости. Я сама собственными ушами слышала, как в ответ на ваше недоуменье, почему меня нет за столом, вам сказали, что я больна. И, правда, я часто страдаю мигренью. Но потом, помните, вы раз как-то после десерта куролесили с Гарри,—не кивайте, пожалуйста, так радостно: дело ведь не в том, что вы этого не забыли, а в том, что, когда вы вбежали в буфетную, я чуть со стыда не сгорела. Вам же объяснили, будто обедать в углу за дверью в обществе экономки (а ей действительно так больше нравится) пожелала я сама. Но это пустяки. Каждое утро мне приходится, как ребенка, принимать из ванны в простыни эту трепещущую драгоценность и потом до изнеможенья растирать тряпками, щетками, пемзой и уж, право, не знаю чем. И ведь я не все могу назвать,—неожиданно тихо заключила она и, вся в краске, переведя дыханье, как после бега, утерла платком разгоревшееся лицо и повернула его к собеседнику.

Сережа молчал, и по его страдальческому виду она догадалась, как глубоко в него все это запало.

— Не утешайте меня,—попросила она и поднялась со скамьи.—Но я не то хотела сказать. Я говорю по-немецки с неохотой. В минуту заслуженной вами сердечности я буду к вам

обращаться по-другому. Нет, не по-датски. „We shall be friends, I'm sure“ [1].

И опять Сережа ответил не так, как хотел, и сказал gut, а не well, не предупредив ее, что понимает по-английски, но то немногое, что знал, позабыл. Она же, продолжая говорить по-английски, горячо и просто напоминала ему (и вслед за тем гораздо холоднее перевела по-немецки), чтобы он не забывал того, что она сказала о ширмах и закоулках. Что она северянка и человек верующий и не выносит вольничанья, что это—просьба и предостереженье, и чтобы все это он имел в виду.

III

Стояли душные дни. Сережа по Нуроку освежал свои скудные и запущенные познанья по-английски. В обеденные часы он подымался с воспитанником в залу, где они топтались в ожиданьи выхода госпожи Фрестельн. Пропустив ее вперед, они следом за ней проходили в столовую. Часто ее минут на пять, на десять предваряла миссис Арильд. Сережа громко беседовал с датчанкой и при появленьи хозяйки с нескрываемым сожаленьем расставался с собеседницей. Шествие из трех лиц, открывавшееся госпожой Фрестельн, направлялось в столовую, а камеристку, двигавшуюся по тому же направлению, с постепенным приближеньем к двери отмывало все более и более влево. И они расходились.

С некоторых пор госпоже Фрестельн пришлось свыкнуться с упорством, с каким Сережа звал столовую малой буфетной, а комнату рядом, где разнимали пуляpдок и раскладывали по тарелкам мороженое,—большой. Но она постоянно ждала от него странностей, считая его прирожденным чудаком, хотя и не понимала половины его шуток. Она доверяла воспитателю и в нем не обманывалась. У него и теперь не было прямого зла на нее, как и ни против кого на свете. В живом лице он умел ненавидеть только своего противника, то есть незаурядно вызывающую, легкую победу над жизнью, с обходом всего труднейшего в ней и драгоценнейшего. А людей, годящихся в олицетворенье такой возможности, не столь уж много.

---

1 Мы будем друзьями. Я уверена.

В послеобеденные часы вниз по лестнице съезжали целые подносы битых и ломаных гармоний. Они скатывались и разлетались неожиданными взрывами, более резкими и разительными, чем случаи официантской неловкости. Между этими мятежными паденьями залегали версты ковровой тишины. Это наверху, за несколькими парами подбитых сукном и плотно притворенных дверей, Арильд на рояли разыгрывала Шумана и Шопена. В такие мгновенья невольнее, чем в другие, смотрелось в окно. Но перемен там не замечалось, небо не трогалось излияньями. Оно знойным столбом продолжало стоять на своем затверженном бездожьи, а под ним на пятьдесят верст кругом плясало мертвое море пыли, точно жертвенный костер, возженный ломовыми извозчиками с нескольких концов сразу, на пяти товарных станциях и за китайгородской стеной, в центре кирпичной пустыни.

Получалась несуразица. Фрестельны засиживались в городе, а миссис Арильд заживалась в особняке. Вдруг судьба наслала всему оправданье в тот момент, как непонятность оттяжки стала всех удивлять. Гарри заболел корью, и переезд в именье был отложен до его выздоровленья. А песчаные вихри все не унимались, дождя не предвиделось, и все помалу к этому привыкли. Стало даже казаться, что это все тот же, теперь на долгие недели застоявшийся день, которого тогда во-время не отвели в участок. Вот он и взял силу, и до смерти всем осточертел. А теперь на улице его всякая собака знает. Так что если бы не ночи, еще дышавшие какими-то призрачными различьями, то следовало бы сбегать за понятыми и наложить сургучевые печати на иссякший календарь.

Улицы походили на блуждающие маковые грядки с путешествующими насажденьями. По размягченным панелям, свесив полуосыпавшиеся головы, двигались пепельные, изомлевшие тени. Только раз в воскресенье у Сережи с датчанкой хватило духу, сунув головы в умывальные чашки, рвануться вон из города. Они поехали в Сокольники. Однако и тут над прудами стлалась та же гарь, с той только разницей, что духота в городе была недоступна глазу, а тут ее становилось видно. Ее полоса, намешанная из пыли, тумана и паровозного дыма, висела, подобно канцелярской линейке, поперек

черного бора, и, разумеется, деловой этот призрак был куда страшнее простого уличного удушья.

Между прочим, полоса эта висела на таком отступе от воды, что лодки свободно под ней проскальзывали; когда же визгливые барышни пересаживались с кормы на весла, то кавалеры, подымаясь им навстречу, задевали за эту говяжью накипь картузами. В пруду у берега с кислым шипеньем дымилась заря. Ее багрянец походил на раскаленную и утопленную в болоте болванку. С того же берега в лопающихся пузырях плыл скользкий, плачевно-раскатчивый рев лягушек.

Между тем смеркалось. Арильд сыпала по-английски, Сережа отвечал ей, и все впопад. Они все быстрей и быстрей кружились по лабиринту, приводившему их все на ту же начальную площадку, и в то же время быстро шли прямой дорогой к заставе, на стоянку трамваев. Они резко отличались от остальных гулявших. Изо всех пар, заполнявших рощу, эта всего тревожней отнеслась к наступлению ночи и бросилась уходить от нее так, точно та гналась за ними по пятам. Когда они оглядывались, они будто соразмеряли скорость ее преследованья. Впереди же, на всех дорожках, на которые они вступали, росло всем бором нечто подобное присутствию старшего. Это превращало их в детей. Они то брались за руки, то растерянно их опускали. Временами их оставляла уверенность в собственном голосе. Им казалось, что их бросает то в громкий шопот, то в далекий, далью надломленный крик. На самом же деле ничего такого не замечалось: они произносили слова, как надо. По временам она становилась легче и прозрачнее лепестка тюльпана, в нем же открывался грудной жар лампового стекла. Тогда она видела, как он борется с горячей, коптящею тягой, чтобы ее не притянуло. Они молча во все лицо глядели друг на друга и потом с болью, как нечто цельное и живое, разрывали надвое эту обоеликую, мольбой о милосердии искаженную улыбку. И тут Сережа опять слышал слова, которым давно подчинился.

Они все быстрей и быстрей кружились по лабиринту мудренейших дорожек и в то же время выходили к заставе, откуда уже несся захлебывающийся звон трамваев, спасавшихся от пустых подвод, всей Стромынкой скакавших за ними

вдогонку. Трамвайные звякалки точно плескались в иллюминованном стекле. От них, как от колодцев, несло прохладой. Скоро крайняя и самая пыльная часть бора сошла в деревянных башмаках с земли на каменную мостовую. Они вошли в город.

„Как велико и неизгладимо должно быть унижение человека,—думал Сережа,—чтобы, наперед отожествив все новые нечаянности с прошедшим, он дорос до потребности в земле, новой с самого основанья и ничем не похожей на ту, на которой его так обидели или поразили!"

В эти дни идея богатства стала занимать его впервые в жизни. Он затомился неотложностью, с какой его следовало раздобыть. Он отдал бы его Арильд и попросил раздать дальше, и все—женщинам. Несколько первых рук он назвал бы ей сам. И все это были бы миллионы, и названные отдавали бы новым, и так далее, и так далее.

Гарри выздоравливал, но госпожа Фрестельн оставалась при нем неотлучно. Ей продолжали стлать в классной. Вечерами Сережа уходил из дому и возвращался лишь на рассвете. За дверью ворочалась в постели и покашливала хозяйка и всеми способами давала понять, что знает о его неурочных приходах. Если бы она спросила, откуда он является, он, не задумываясь, назвал бы ей места своих отлучек. Она это чувствовала и, остерегаясь серьезности, какую он вложил бы в ответ и которую ей пришлось бы проглотить как обязательность, оставляла его в покое. Он приходил оттуда с тем же далеким светом в глазах, что с прогулки в Сокольники.

Одна за другой несколько женщин всплыли в разные ночи на уличную поверхность, поднятые привлекательностью и случайностью из несуществования. Три новых женских повести стали рядом с историей Арильд. Неизвестно, почему изливались на Сережу эти признанья. Он не ходил их исповедывать, потому что считал это низостью. Как бы в объяснение безотчетной доверенности, которая влекла их к нему, одна из них сказала, что он словно чем-то похож на них самих.

Это сказала самая матерая и запудренная из всех, самая разсамая, та самая, что уже до скончанья дней была со всем светом на „ты", поторапливала извозчика такими жалобами на

свою знобкость, которых нельзя привесть, и всеми выпадами своей хриплой красоты уравнивала все, до чего ни касалась. Ее комнатка во втором этаже пятиоконного домика, кривого и вонючего, ничем с виду не отличалась от любого мещанского жилья из беднейших. По стене ниспадали дешевые ширинки, утыканные фотографиями и бумажными цветами. У простенка, крыльями захватывая оба подоконника, горбился раскладной стол. А напротив, у не доходившей до верху перегородки, стояла железная кровать. И однако, при всем сходстве с человеческим жилищем, это место было полной его противоположностью.

Половики подстилались под ноги гостя с редким холуйством и, приглашая не церемониться с квартиранткой, сами, казалось, готовы были подать пример, как ею помыкать. Чужой толк был их единственным хозяином. Все существовало настежь, проточным порядком, как в потоп. Казалось, даже и окна обращены тут не изнутри наружу, а снаружи вовнутрь. Подмытые уличной славой, как в наводненье, домашние вещи, не чинясь и как попадется, плавали по широкому званью Сашки.

Зато и она в долгу перед ними не оставалась. Все, за что она ни бралась, она делала на ходу, крупным валом и по-одинаковому, без спадов и нарастаний. Приблизительно так же, как, все время что-то говоря, выбрасывала она упругие руки, раздеваясь, она потом на рассвете, за разговором, упираясь животом в столовое крыло и валя пустые бутылки, додувала свои и Сережины подонки. И приблизительно по-такому же, в той же степени, стоя в длинной рубахе спиной к Сереже и отвечая через плечо, без стыда и бесстыдства прудила в жестяной таз, внесенный в комнату тою старухою, что их впускала. Ни одного из ее движений нельзя было предугадать, и ее надтреснутую речь подымал и опускал тот же жаркий бросовой нахрап, что сбивал набок ее пряди и горел в ее расторопных руках. В ровности этого проворства и заключался ее ответ судьбе. Вся человеческая естественность, ревущая и срамословящая, была тут, как на дыбу, поднята на высоту бедствия, видного отовсюду. Окружностям, открывавшимся с этого уровня, вменялось в долг тут же на месте одухотвориться, и по шуму собственного волнения можно было расслы-

шать, как дружно, во всей спешности обстраиваются мировые пустоты спасательными станциями. Острее всех острот здесь пахло сигнальной остротой христианства.

В исходе ночи переборку колыхнуло незримым мановеньем двора. Это ввалился в сени ее покровитель. Нюх на чужое присутствие, самый верный из его доходов, не оставлял его и в чернейшем хмелю. Тихонько переступая в тяжелых сапогах, он, как вошел, тотчас же тихо рухнул где-то рядом за переборкой и, ничем не сказавшись, вскоре перестал существовать. Его тихое ложе стояло, вероятно, доска об доску с промысловой кроватью. Вероятно, это был ларь. Едва он захрапел, как в него снизу живым и жадным долотом ударила крыса. Но опять наплыла тишина. Храпа вдруг не стало, крыса притаилась, и по комнате пробежал знакомый ветерок. Существа на гвоздях и клею признали хозяина. Все, чего не смели тут, смел вор за стеной. Сережа спрыгнул на пол.

— Куда ты? Убьет!—всем нутром прохрипела Сашка и, протащившись по постели, повисла на его рукаве.—Сердце сорвать не штука, а уйдешь,—спину мне подставлять?

Но Сережа и сам не знал, куда рвался. Во всяком случае это была не та ревность, которая померещилась Сашке, хотя она и не меньшей страстью подплывала к сердцу. И если что когда, подобно упряжной приманке, было выкинуто наперевес человеку, в залог его вечного хода, то именно этот инстинкт. Это была ревность, которою мы иногда ревнуем женщину и жизнь к смерти, как к неизвестному сопернику, и рвемся на волю за волею для вызволенья той, кого ревнуем. И, конечно, тут пахло все тою же остротой.

Было еще очень рано. По ту сторону мостовой, в широких дверях лабазов уже угадывались раскидные листы тройных железных створ. Пыльные окна серели, до четверти налитые круглым булыжником. На Тверских-Ямских, как на весах, лежал рассвет, и воздух казался мелкой сенной трухою, беспрестанно им отделяемой. У стола сидела Сашка. Блаженная сонливость кружила и несла ее, как вода. Она болтала без умолку, и ее говор походил на здоровое дремлющее животное.

— Эх ты, Виновата Ивановна!—не слыша своих слов, тихо приговаривал Сережа.

Он сидел на подоконнике. А по улице уже проходили люди.

— Нет, ты не медик,—говорила Сашка, навалясь боком на доску. Она то ложилась щекою на локоть, то, выпрямив руку, всю ее медленно оглядывала сбоку, от плеча к кисти, точно это не рука была, а далекая дорога или ее жизнь, видная ей одной.—Нет, ты не медик. Медики другие. Я вас впростотки не знаю как—ну, иное, когда сзади идет, не видать—хвостом признаю. Небось, учитель? Ну, вот. А то я до смерти простуды боюсь. Да ты не медик, нечего и спрашивать. Ты, послушай, не из татар ли, а? Ты приходи. Днем приходи. Ты адреса-то не потеряешь?

Они беседовали вполголоса, и Сашку то разбирал бисерный задорный хохоток, то одолевала зевота с почесотой. Она с детской ненасытностью, точно возвращенным достоинством, наслаждалась этой безмятежностью, очеловечивавшей еще больше того и Сережу.

Промежду болтовни, назвав Польшу Царством польским, она хвастливым кивком на стену, где в глянцовитом гнезде прочих карточек лоснилось чучело благодушного унтера, выдала самое для нее далекое и заветное, то есть вероятного всему первопричинника. Вероятно, к нему и вела, от плеча к кисти, ее полная, терявшаяся в далях рука. А может быть, и не к нему. Вдруг, подобно сухому сену, разом зажглась заря, и вся вдруг, как сено, сгорела. По лобасто-пузырчатым стеклам поползли мухи. Фонари и туманы обменялись зверскими зевками. Весь в разбегающихся искрах, затлев, занялся день. Тут Сережа почувствовал, что никого еще так сильно не любил, как Сашку, и тут же в мыслях увидал, как, куда-нибудь подале к кладбищам, мостовая обязательно в мясных красных пятнах, и булыжник на ней крупнее и реже, как у застав. Поперек же нее, отрываясь и уходя, отрываясь и уходя, спокойно скользят товарные вагоны, пустые и со скотиной. Вдруг происходит нечто подобное крушению, движенье чем-то перехватывается, из глубины подымается отсеченный конец улицы. Это тем же ходом, друг дружке в наверст, друг дружке в наверст идут порожняком платформы, но их не видно за плотной стеной людей и телег у переезда. Тут крапива и куроелеп, и пахло бы полевою мышью, когда бы не гарь. И тут же бойко шестилетнею вострушкой юлит сопливая

Сашка. Наконец, всех позднее и в страшных попыхах,—точно спрашивая у стоящих, не видали ли вагонов, не пробегали ль,—задом, задом поспешает черный потный паровоз. Вот шлагбаум подымается, улица разбегается прямой стрелою, вот сейчас с двух сторон, врезаясь друг в друга, двинутся возы и человеческие расчеты. И тут на середку мостовой теплым желудком чудища, травяным, трижды скрученным, мешком брякается паровозный дым, тот самый, может статься, ливер, которым питается окраинная беднота. И Сашка путается и поглядывает, как страшен он средь чайных и колониальных товаров, с продажею сигар и табаку, и кровельного железа, и городовых, а про ее глаза и пятки где-то тем временем пишут „Детство женщины". На мостовой пахнет овсом, и она до головной просто-таки боли припечатана солнцем по конской моче. И вот, не миновав-таки простуды, которой так боялась, потеряв глаза и пятки, и нос и разум, перед тем как слечь в больницу, а то и в могилу, забегает она на минутку за книжкой, в которой, говорили, про это все прописано, ну просто-таки про все, про все, и вот видно, правда: дурой жила, дурой и помирать. Ей и на тротуар нельзя, отрядом по мостовой ведут, а ей, вишь, что приспичило. Сбрехнули, а она, дура, и подхвати, просто смешно. Про другую это все: и фамилия не русская, и город другой. Вот городовой при книжке холщевой, с тесемкою, там и она, в ней и читай. Ну и (мгновенный нажим похабной собачки)—та-тра-тра, та-та-та,—конец один. И городовые смотрят ласковей. Баб они ведут огнестрельных, а у благородной публики язык на предохранителе.

— Ты что это призадумался? Ты б на других посмотрел. Ты на меня не гляди, я—что, я против них простатки сказать—барыня. Ты на то не смотри, час ли там какой или еще что,—может, скажешь, спят,—много ты про нас понимаешь! Ой, уморил, ой, помру, ха-ха-ха. Ты днем приходи. А об нем не думай. Ты его не бойся, он смирный, ну, конечно, когда не трогать. Ведь вот ты в дверь—он из двери; а то либо, вишь, спит,—поди добудись, да вперед найди. Потемки—не ступишь. И чего дался он тебе, не понимаю, диви б мешал. Другие бывали, не обижаются. Тоже, которые благородные,

вашего звания. Ну готово, теперь только пудру и сумочку не забыть, на, подержи. Ну, пойдем, до Садовой провожу, авось назад не скучать, дело привычное. Что день, что утро, глазок скосишь — так в руки и плывут, так и плывут. Ай тебе не к Страшному? Ну, ладно, прощай, смотри не забывай. А я одна пойду, кобелям повадлее. Адреса-то не потеряешь?

Улицы натощак были стремительно прямы и хмуры. По их пролетному безлюдью еще носился сизый, сластолюбивый сгик пустоты. Изредка одиночками навстречу попадались сухопарые людоеды. Вдалеке на шоссе дутой голубиной грудью колотился все об одно какое-то место скачущий лихач. Сережа шел в Самотеки и за версту от Триумфальной воображал, будто слышит, как Сашке свистнули с тротуара на тротуар, она же замедлилась, сама игриво любопытствуя, кто — кого, то есть кликнувший ли перейдет через дорогу или кликнутая. Хотя день только начался, но в сутолочной липовой листве уже висели запутавшиеся нити зноя, бредовые, как крошки в бородах у покойников. И Сережу знобило.

IV

Богатство следовало раздобыть немедленно. И разумеется, не работою. Заработок не победа, а без победы не может быть освобожденья. И, по возможности, без громких общностей, без привкуса легенды. Ведь и в Галилее дело было местное, началось дома, вышло на улицу, кончилось миром. Это были бы миллионы, и если бы такой вихрь пролетел по женским рукам, обежав из Тверских-Ямских хотя одну, это обновило бы вселенную. А в этом и нужда, — в земле, новой с самого основанья.

„Главное, — говорил себе Сережа, — чтобы не раздевались они, а одевались; главная вещь, чтобы не получали деньги, а выдавали их. Но до исполненья плана, — говорил он себе (а плана-то никакого не было), — надо достать совсем другие деньги, рублей двести или хоть полтораста. (Тут Нюра Рюмина вставала в сознаньи, и Сашка; и Анна Арильд Торнскьольд была не на последнем месте.) И это — суммы совсем иного назначенья. Так что в виде временной меры их, не колеблясь, можно принять и из честного источника. Ах, Раскольников,

Раскольников,—повторил про себя Сережа.—Только при чем же закладчица? Закладчица—Сашка в старости, вот что... Но хотя бы и законно, откуда их достать, вот в чем вопрос. У Фрестельнов забрано на два месяца вперед, продать нечего".

Это было в один из первых дней июня. Гарри стали выводить на прогулки. В особняке опять начали снаряжаться на дачу. Арильд возобновила отлучки по делам, прерванным на срок Гарриной болезни. Скоро ей представилось место в отъезд в Полтавскую губернию, в военную семью,

— Not Souvoroff,—the other [1],—полногорло прокартавила она на лестнице, ленясь подняться за письмом,—I forget always [2].

И Сережа перебрал все вероятия от Кутузова до Куропаткина, пока не оказалось, что это—Скобелевы.

— Awfully! I cannot repeat. How do you pronounce it? [3]

Условия были выгодные, но снова, и в который уже раз, ей пришлось задержаться решеньем. И вот почему. Едва получив предложенье, она захворала, и по жестокости болезни все решили, что это она схватила от Гарри. Между тем сильный, как в кори, жар, в первый же вечер сваливший ее в постель и зашедший за сорок градусов, на другое утро так же стремительно упал до тридцати пяти с десятыми. Все это осталось загадкой, врачом не разъясненной, и до крайности бедняжку ослабило. Теперь последствия припадка проходили, и особняк раз или два опять уже огласился громами „Aufschwunga"[4], как в дни, когда Сереже о раскольниковских дилеммах и не мечталось.

Того же числа госпожа Фрестельн с утра повезла Гарри к знакомым на Клязьму, с намерением у них и заночевать, если допустит погода и будет случай. Уехал также куда-то и сам. Половина дня прошла, как при хозяевах. Лаврентий, правда, чтобы услужить, предложил было Сереже подать вниз, но он предпочел людей из заведенного распорядка не выводить и, сам не заметив, как это случилось, отобедал

---

1 Не Суворов, другой...
2 Поминутно забываю.
3 Ужасно! Не повторить. Как вы это произносите?
4 Названье одной из фортепьянных пьес Шумана.

наверху в строгой верности часу и даже месту, какое занимал за столом, вторым по счету с правого края.

Итак, был пятый час дня, хозяев не было дома. Сережа поочередно думал то о миллионах, то о двухстах рублях и в этих размышлениях расхаживал по комнате. Вдруг пролетел миг такой особенной ощутительности, что, обо всем позабыв, он, как был, замер на всем шагу и растерянно насторожился. Но вслушиваться было решительно не во что. Только комната, залитая солнцем, показалась ему голее и обширнее обычного. Можно было обратиться к прерванному занятию. Но не тут-то было. Мыслей не осталось и в помине. Он забыл, о чем размышлял. Тогда он поспешно стал доискиваться хотя бы одного словесного званья думанного, потому что на обозначенья вещей мозг отзывается весь целиком, как на собственную кличку, и, пробудившись от оцепененья, возобновляет службу с того урока, на котором нам временно в ней отказал. Однако и эти поиски ни к чему не привели. От них только возросла его рассеянность. В голову лезло одно постороннее.

Вдруг он вспомнил про весеннюю встречу с Коваленкой. Снова обманно обещанная и несуществующая повесть всплыла в его убежденьи в качестве готовой и уже сочиненной, и он едва не вскрикнул, когда догадался, что вот ведь они где, искомые деньги, по крайней мере не те, заветные, а из честного и сотенного разряда, и, все сообразив и задернув занавеску на среднем окне, чтобы затенить стол, недолго думая засел за письмо к редактору. Он благополучно миновал обращение и первые живые незначительности. Совершенно неизвестно, что бы он сделал, дойдя до существа. Но в это время его слух поразила та же странность. Теперь он успел в ней разобраться. Это было сосущее чувство тоскливой, длительной пустоты. Ощущенье относилось к дому. Оно говорило, что он в эту минуту необитаем, то есть оставлен всем живым, кроме Сережи и его забот. „А Торнскьольд?“— подумал он и тут же вспомнил, что с вечера она в доме не показывалась. Он с шумом отодвинул кресло. Оставляя за собой на разлет двери классной, двери детской и еще какие-то двери, он выбежал в вестибюль. В пролете за косой дверкой, выводившей во двор, горело белое, как песок, тепло

пятого часа. Сверху оно показалось ему еще более таинственным и плотоядным. „Какое легкомыслие,—подумал он, быстро переходя из покоя в покой (он знал не все),—всюду окна настежь, в доме и на дворе ни души, можно все вынести, никто не пикнет. Однако что ж это я так наугад? Пока ее дошаришься, мало ли что может случиться“. Он пустился назад, стремглав скатился по лестнице и выбежал через надворную дверку как из дома, объятого пламенем. И как по пожарной тревоге, тотчас же в глубине двора приотворились сени дворницкой.

— Егор,—не своим голосом крикнул Сережа быстро бежавшему навстречу человеку, который на бегу что-то дожевывал и утирал углом передника усы и губы,—научи, сделай милость, как пройти к француженке (назвать ее француженкой, как во всей точности титуловала дворня датчанку и всех ее предшественниц, у него не хватило духу.) Да скорей, пожалуйста, мне тут Маргарита Оттоновна наказала с утра ей кое-что передать, а я только вот вспомнил.

— А вон окошко,—торопливо доглатывая жеванное, коротко, длиной в глоток, вякнул дворник и затем, подняв руку и мотнув освобожденной шеей, пошел совсем по-другому сыпать, как туда попасть, все время глядя не на Сережу, а в сторону, на соседнее владенье.

Оказалось, что часть убогого трехэтажного здания из небеленого кирпича, прямым вгибом примыкавшего к особняку и арендовавшегося у Фрестельнов под гостиницу, откроена в этой смежности под надобности хозяев и что в нее есть доступ снизу из особняка по коридору, мимо детской половины. В эту узкую полосу, выделенную из гостиницы глухой внутренней стеною, попадало по комнате на этаж. На третий и приходилось окно камеристки. „Где все это было уже раз?“— полюбопытствовал Сережа, топая по коридору, когда на муровой меже, разделявшей обе кладки, под ногами прогромыхали наклонные половицы добавочного настила. Он было и вспомнил где, да не стал вникать, потому что в ту же минуту прямо перед ним чугунною улиткой повисла винтовая лестница. Заключив его в свое витье, она стеснила его в разбеге, чем и заставила отдышаться. Но сердце билось у него еще достаточно гулко и часто, когда, раскружась до конца, она прямо под-

вела его к номерной двери. Сережа постучался и не получил ответа. Он сильнее надобности толкнул дверь, и она с размаху шмякнулась о простенок, не породив ничьего возражения. Этот звук красноречивее всякого другого сказал Сереже, что в комнате никого нет. Он вздохнул, повернулся и, наклонясь, взялся уже за винтовые перила, но, вспомнив, что оставил дверь настежь, вернулся ее притворить. Дверь разворачивалась направо и, сунувшись за дверной ручкой, туда и следовало глядеть, но Сережа бросил воровской взгляд налево и так и обомлел.

На вязаном покрывале кровати, фасонными каблуками прямо на вошедшего, в гладкой черной юбке, широко легшей напрочь, праздничная и прямая, как покойница, лежала навзничь миссис Арильд. Ее волосы казались черными, в лице не было ни кровинки.

— Анна, что с вами?—вырвалось из груди у Сережи, и он захлебнулся потоком воздуха, пошедшим на это восклицание.

Он бросился к кровати и стал перед нею на колени. Подхватив голову Арильд на руку, он другою стал горячо и бестолково наискивать ее пульс. Он тискал так и сяк ледяные суставы запястья и его не доискивался. „Господи, господи!"— громче лошадиного топота толклось у него в ушах и в груди, тем временем как, вглядываясь в ослепительную бледность ее глухих, полновесных век, он точно куда-то стремительно и без достиженья падал, увлекаемый тяжестью ее затылка. Он задыхался, и сам был недалеко от обморока. Вдруг она очнулась.

— You, friend? [1]—невнятно пробормотала она и открыла глаза.

Дар речи вернулся не к одним людям. Заговорило все в комнате. Она наполнилась шумом, точно в нее напустили детей. Первым делом, вскочив с полу, Сережа притворил дверь. „Ах, ах",—без цели топчась по комнате, повторял он что-то в блаженной односложности, поминутно устремляясь то к окну, то к комоду. Хотя номер, выходивший на север, плыл в лиловой тени, однако аптечные этикетки можно было прочесть в любом углу, и вовсе не требовалось, разбирая пузырьки и склянки,

---

[1] Это вы, друг?

подбегать с каждою в отдельности к свету. Делалось это лишь с тем, чтобы дать выход радости, требовавшей шумного выраженья. Арильд была уже в полной памяти, и только, чтобы доставить Сереже удовольствие, уступала его настояниям. Ему в угоду она согласилась нюхать английскую соль, и острота нашатыря пронзила ее так же мгновенно, как всякого здорового человека. Заслезенное лицо застлалось складками удивленья, брови стали уголками вверх, и она оттолкнула Сережину руку движеньем, полным возвратившейся силы. Он также заставил ее принять валерьянки. Допивая воду, она стукнула зубами об рант стакана, причем издала то мычанье, которым дети выражают полностью утоленную потребность.

— Ну, как наши общие знакомые, уже вернулись или еще гуляют?—отставив стакан на столик и облизнувшись, спросила она и, приподняв подушку, чтобы сесть поудобнее, осведомилась, который час.

— Не знаю,—ответил Сережа,—вероятно, конец пятого.

— Часы на комоде. Посмотрите, пожалуйста,—попросила она и тут же удивленно прибавила:—Не понимаю, на что вы там зазевались! Они на самом виду. А, это—Арильд. За год до смерти.

— Удивительный лоб.

— Да, не правда ли?

— И какой мужественный! Поразительное лицо. Без десяти пять.

— А теперь еще плед, пожалуйста,—вон на сундуке... Так, спасибо, спасибо, прекрасно... Я, пожалуй, немножко еще полежу.

Сережа раскачал и тугим пинком распахнул неподатливое окно. Комнату колыхнуло емкостью, точно в нее ударили, как в колокол. Пахнуло тягучим духом желтых одуванчиков, травянисто-резиновым запахом красных бульварных рогаток. Крик стрижей кинулся путаницей к потолку.

— Вот, положите на лоб,—предложил Сережа, подавая Арильд полотенце, политое одеколоном.—Ну, как вам?

— О, бесподобно, разве вы не видите?

Он вдруг почувствовал, что не в силах будет с ней расстаться. И потому сказал:

— Я сейчас уйду. Но так нельзя. Это может повториться.

Вам надо расстегнуть ворот и распустить шнуровку. Справитесь ли вы со всем этим сами? В доме никого нет.

— You'll not dare...[1]

— О, вы меня не поняли. К вам некого послать. Ведь я сказал, что уйду,—тихо перебил он ее и, понурив голову, медленно и неповоротливо направился к двери.

У порога она его окликнула. Он оглянулся. Опершись на локоть, она протягивала ему другую руку. Он подошел к ее изножью.

— Come near, I did not wish to offend you[2].

Он обошел кровать и сел на пол, поджав ноги. Поза обещала долгую и непринужденную беседу. Но от волненья он не мог вымолвить ни слова. Да и говорить было не о чем. Он был счастлив, что не под винтовою лестницей, а еще при ней, что не сейчас еще перестанет ее видеть. Она собралась прервать молчание, тягостное и несколько смешное. Вдруг он стал на колени и, упершись скрещенными руками в край тюфяка, уронил на них голову. У него втянулись и разошлись плечи, и, точно что-то размалывая, ровно и однообразно заходили лопатки. Он либо плакал, либо смеялся, и этого нельзя было еще решить.

— Что вы, что вы! Вот не ждала. Перестаньте, как вам не стыдно!—зачастила она, когда его беззвучные схватки перешли в откровенное рыданье.

Однако (да она это и знала) ее утешенья только благоприятствовали слезам, и, гладя его по голове, она потворствовала новым их потокам. А он и не сдерживался. Сопротивленье повело бы к затяжке, а тут имелся большой застарелый заряд, который хотелось извести как можно скорее. О, как радовало его, что не устояли и сдвинулись наконец, и поехали все эти Сокольники и Тверские-Ямские, и дни и ночи двух последних недель! Он плакал так, точно прорвало не его, а их. И действительно, их несло и крутило, как подмытые бревна. Он плакал так, будто ждал от бури, внезапно ударившей, как из облака, из его забот о миллионах, каких-то очистительных последствий. Словно слезы эти должны были иметь влияние на дальнейший ход житейских вещей,

---

1 Вы не осмелитесь...

2 Подойдите, я не хотела вас обидеть.

Вдруг он поднял голову. Она увидала лицо, омытое и как бы отнесенное вдаль туманом. В состояньи какого-то старшинства над собой, будто прямой себе опекун, он произнес несколько слов. Слова были окутаны тою же пасмурной, отдаляющей дымкой.

— Анна,—тихо сказал он,—не спешите отказом, умоляю вас. Я прошу вашей руки. Я знаю, это не так говорится, но как мне это выговорить? Будьте моей женой,—еще тише и тверже сказал он, внутренно затрепетав от нестерпимой свежести, на которой вплыло это слово, впервые впущенное им в жизнь и ей равновеликое.

И, выждав мгновенье, чтобы справиться с улыбкой, всколебленной им на какой-то предельной глубине, он нахмурился и прибавил еще тише и тверже прежнего:

— Только не смейтесь, прошу вас,—это вас уронит.

Он поднялся и отошел в сторону. Арильд быстро спустила с кровати ноги. Состояние ее духа было такого, что, при совершенном порядке, платье ее казалось смятым, волосы—растрепанными.

— Друг мой, друг мой, ну можно ли так?—давно уже говорила она, при каждом слове порываясь встать и поминутно об этом забывая, и, что ни слово, как виноватая, удивленно разводила руками.—Вы с ума сошли. Вы безжалостны. Я лежала без памяти. Я с трудом привожу в движенье веки,—слышите ли вы, что я говорю? Я не мигаю, а шевелю ими, понимаете вы это, или нет? И вдруг такой вопрос, и в упор! Но не смейтесь и вы. Ах, как вы меня волнуете!—как-то по-другому, будто в скобках и про себя одну, воскликнула она и, соскочив на ноги, быстро подбежала с этим восклицанием, как с ношей, к комоду, по другую сторону которого, локоть в доску, подбородок в ладонь, стоял он, хмуро ее слушая.

Она ухватилась обеими руками за углы бортовой кромки и, покачиваньем всего корпуса выделяя доводы особо разительные, продолжала, обдавая его светом постепенно побеждаемого волненья:

— Я ждала этого, это носилось в воздухе. Я не могу вам ответить. Ответ заключен в вас самих. Может быть, все когда-нибудь так и будет. И как бы я этого хотела! Потому что, потому что ведь вы не безразличны мне. Вы, конечно, об

этом догадывались? Нет? Правда? Нет, скажите,—неужели нет? Как странно. Но все равно. Ну, так вот, я хочу, чтобы вам это было известно.—Она запнулась и пережидала мгновенье.—Но я все время наблюдала вас. Есть что-то в вас неладное. И знаете, сейчас, в эту минуту, его в вас больше, чем позволяет положенье. Ах, друг мой, так предложений не делают. И дело тут не в обычае. Но все равно. Послушайте, ответьте мне на один вопрос, чистосердечно, как родной сестре. Скажите, нет ли у вас на душе какого-нибудь позора? О, не пугайтесь, ради бога! Разве не сдержанное обещанье или не исполненный долг не оставляют пятен? Но, конечно, конечно, я предполагала и сама. Все это так не похоже на вас. Можете не отвечать,—я знаю: ничего из того, что меньше человека, в вас долгого и частого пребывания не может иметь. Но,—задумчиво протянула она, отчеркнув рукою в воздухе нечто неопределенно пустое, и в голосе у нее появились усталость и хрипота,—но существуют вещи, которые больше нас. Скажите, нет ли в вас чего-нибудь такого? В жизни это одинаково страшно, я бы этого боялась, как присутствия постороннего.

Более существенного она уже ничего не сказала, хотя примолкла не сразу. Попрежнему двор был пуст и флигеля—как вымершие. Как раньше, над ними носились стрижи. Конец дня горел подобно былинной сече. Стрижи подплывали целой тучей медленно трепещущих стрел и вдруг, обратив назад острия, с криком уносились обратно. Все было, как раньше. Только в комнате стало чуть темнее.

Сережа молчал, потому что не знал, совладает ли с голосом, если прервет молчанье. При всякой попытке заговорить у него удлинялся и начинал дробно подрагивать подбородок. Реветь же одному, по своей причине, без возможности свалить это на московские предместья, представлялось ему постыдным. Анну до крайности удручало это молчанье. Еще больше была она недовольна собою. Важнее всего было то, что она на все была согласна, а ведь это вовсе не явствовало из ее слов. Ей казалось, что все идет из рук вон гадко и по ее вине. Как всегда в таких случаях, она казалась себе бездушной куклой и, клевеща на себя, стыдилась холодной риторики, якобы заключавшейся в ее ответе. И вот, чтобы попра-

вить этот воображаемый грех, и уверенная, что теперь все пойдет по-другому, она сказала голосом всего этого вечера, то есть голосом, приобревшим сходство с Сережиным:

— Я не знаю, поняли ли вы меня. Я ответила вам согласьем. Я готова ждать, сколько будет надо. Но сперва приведите себя в порядок, мне неведомый, и слишком, вероятно, известный вам самим. Я сама не знаю, о чем говорю. Эти намеки подымаются во мне против воли. Угадать или догадаться—ваше дело. Затем вот что: ожиданье дастся мне нелегко. А теперь довольно, а то мы изведем друг друга. Теперь послушайте. Если я вам, правда, дорога хоть в половину того... Ну, что вы, ну, не надо, ну, прошу вас, ведь вы все уничтожите... Ну вот, спасибо.

— Вы что-то хотели сказать,—тихо напомнил он ей.

— Да, конечно,—и не забыла. Я хотела попросить вас спуститься вниз. Правда, послушайтесь меня, ступайте к себе, умойте лицо, пройдитесь, надо успокоиться. Вы не согласны? Ну, хорошо. Тогда другая просьба, бедный вы мой. Ступайте все-таки к себе и обязательно умойтесь. Нельзя с таким лицом казаться на люди. Подождите меня, я зайду за вами, мы пройдемся вместе. И перестаньте мотать головой. Смотреть тоска. Ведь это самовнушенье. Заговорите, попробуйте,—положитесь на меня.

Опять прогромыхали под ним пустоты скошенного надполья, опять вспомнился институтский двор. Опять мысли, вызванные воспоминаньем, понеслись лихорадочно-машинальной чередой, до него не имевшей отношенья. Опять очутился он в залитой солнцем комнате, чересчур обширной и потому производившей впечатление необжитой. За его отсутствие свет переместился. Занавеска на среднем окне уже не затеняла стола. Это был тот самый свет, желтый и косой, действие которого продолжалось наверху за углом и, вероятно, откладывало все более фиолетовые тени на кровать и комод, уставленный склянками. При Сереже это полиловенье знало еще меру и шло довольно благородно, но как ускорится оно, наверное, без него, как самовластно и победно, воспользовавшись его уходом, накинутся на нее стрижи. Еще есть время предотвратить насилье и нагнать ушедшее, еще не поздно

начать все сызнова и кончить по-другому, еще все это можно, но скоро будет нельзя. Зачем же он тогда ее послушался и оставил? „Ну и хорошо. Ну и допустим“,—в то же время отвечал он из этого горячего Аннина ряда другим лихорадочно-машинальным мыслям, которые неслись мимо него и до него не имели отношенья. Он раздернул среднюю занавеску и затянул крайнюю, отчего свет сдвинулся и стол ушел во мрак, а вместо стола из тени вышла и до задней стены озарилась соседняя комната, по которой должна была пройти к нему Анна. Дверь туда стояла настежь. За всеми этими движеньями он забыл, что должен был умыться.

„Ну и Мария. Ну и допустим. Мария ни в ком не нуждается. Мария бессмертна. Мария не женщина“. Он стоял задом к столу, прислонясь к его краю, сложив накрест руки. Перед ним с отвратительной механичностью неслись пустые институтские помещенья, гулкие шаги, незабытые положенья прошлого лета, невывезенные Мариины тюки. Многопудовые корзины мелькали как отвлеченные понятья, чемоданы в ремнях и веревках могли служить посылками к умозаключениям. Он страдал от этих холодных образов, как от урагана праздной духовности, как от потока просвещенного пустословья. Нагнув голову и скрестив руки, он с раздражением и тоской ждал Анны, чтобы броситься к ней и укрыться от этого пошлого скакового наваждения. „Ну и—с провалом. Благодарствуйте, и вас также. Ерундили, ерундили, а другой подоспел, и следов не найти. Ну и дай ему бог здоровья, не знаю и знать не хочу. Ну и—без вести, и бесследно. Ну и допустим. Ну и прекрасно“.

А пока он обменивался колкостями с прошлым, фалды его пиджака ерзали по листку почтовой бумаги, записанному сверху и на две трети чистому. Он знал и об этом, но письмо к Коваленке тоже пока находилось в чужом ряду, с которым он пикировался.

Вдруг он в первый раз за истекший год заподозрил, что помог Ильиной очистить квартиру и собрал ее за границу. Бальц, подлец (как это у него внутренно назвалось). Он тут же почувствовал с достоверностью, что—угадал. У него сжалось сердце. Его резануло не прошлогоднее соперничество, а то, что в Аннин час его могло заинтересовать нечто не

Аннино, получив недопустимую и для нее обидную живость. Но с тою же внезапностью он сообразил, что чужое вмешательство может грозить ему и нынешним летом, пока сам он не станет суше и положительней.

Он принял какое-то решение и, повернувшись на каблуках, обозрел комнату и стол, точно новое в жизни положенье. Закатные полосы вошли в сок и набирались последней алости. Воздух в двух местах был распилен сверху донизу, и с потолка на пол сыпались горячие опилки. Конец комнаты казался погруженным во мрак. Сережа положил почтовую стопку так, чтобы было с руки, и засветил электричество. За всем этим он позабыл, что у них уговорено было с Анной пойти пройтись.

„Я женюсь,—сообщал он Коваленке,—и мне дозарезу нужны деньги. Повесть, о которой я вам говорил, я переделываю в драму. Драма будет в стихах“.

И он принялся излагать ее содержание:

„Однажды, в реальных условиях нынешней русской жизни, однако представленных так, что они получают более широкое значение, среди крупнейших воротил одной из столиц зарождается слух, который затем крепнет и обогащается частностями. Он передается изустно, подтверждения ему в газетных публикациях не ищут, потому что дело это противозаконное и по недавно преобразованному праву относится к разряду уголовных. Будто явился человек-охотник запродать себя в полную другому собственность, и продаваться будет с молотка, а какой в этом смысл и корысть, будет видно на аукционе. Будто не без Уайльда тут, и будто опять от женщин,—в звон, без угадки, где он, перекатывают по молодому купечеству той руки, что дома свои обставляют по эскизам театральных декораторов, а беседу уснащают терминами индийского духоведения. В назначенный день,—ибо даже сведения о месте и дне торгов непостижимым образом до всех доходят,—каждый отправляется за город с опаскою, не одурачен ли он знакомыми и не на посмеяние ли им едет. Но любопытство сильнее, к тому же и погода чудесная, на дворе июнь месяц. Происходит все на даче, дача новая, никто из них в ней до этого раза не бывал. Народу много, все своя публика: наследники крупнейших состояний, философы, ме-

ломаны, коллекционеры, разборчивые ценители. Стулья рядами, пол приподнятый, вроде эстрады, рояль с занесенной на подпорку крышкой, от рояля несколько вбок столик, на столике молоток. Несколько широких трехстворчатых окон. Вот он выходит. Это очень еще молодой человек. Тут, разумеется, будет затрудненье с именем, и действительно, как его назвать, если с первых же шагов человек сам лезет в символы? Однако и символы бывают разные, назвать же его как-нибудь надо, назовем его временно алгебраически, ну, хоть бы Игреком Третьим. Сразу видно, что никакого блеска не будет, что не цирком пахнет, не Калиостро, не из „Египетских (даже) ночей", что родился человек всерьез и даже не без намерения. Видно, что дело не шуточное, что все совершится в их общую бытность на свете, без отступлений в вымысел, и что им от этого не отвертеться. И потому, со всем простодушием прозы, его, точно на углу Охотного и Дмитровки, встречают аплодисментами. Он объявляет, что тот, кто даст за него всех больше, будет волен в его жизни и смерти. Что он в одни сутки распорядится выручкой, как задумал, и ничего себе не оставит, вслед за чем наступит его полная и беспрекословная неволя, продолжительность каковой он сейчас и полагает в руки будущего хозяина, ибо не только будет тот властен пустить его в оборот, в какой захочет, но и вовсе его прикончить, когда и как ему заблагорассудится. Подложная записка о самоубийстве, наперед обеляющая убийцу, у него готова. Любой другой документ, имеющий покрыть знаками его доброй воли все, что с ним ни случится, он изготовит при надобности, когда укажут. „А теперь,—говорит Игрек Третий,—я поиграю вам и почитаю. Играть я буду одно непредвиденное, то есть экспромтом, читать—готовое, хотя и свое". И вот тогда по эстраде проходит новое лицо и садится за столик. Это друг Игрека Третьего. В отличие от остальных друзей, распростившихся с ним поутру, этот остался при Игреке, по просьбе последнего. Он любит его не меньше других, но в отличье от них не теряет хладнокровья, потому что не верит в осуществленье Игрековой затеи. Служит он в казначействе и очень исполнительный человек. Вот Игрек и оставил его выкрикивать наддачи при совершеньи сделки, которой сам оставленный не придает цены.

Он остался, чтобы помочь сбыться выдумке, в сбыточность которой не верит, а потом в заключенье отстукать друга в далекий путь по всем правилам аукционного искусства. Тут начинается дождь"...

„Тут начинается дождь",—вывел Сережа на краю восьмого листочка и перенес писанье с почтовой бумаги на писчую. Это был первый черновой набросок из тех, что пишутся один или два раза в жизни, ночь напролет, в один присест. Они по необходимости изобилуют водой, как стихией, по самой природе предназначенной воплощать однообразные, навязчиво-могучие движенья. Ничего, кроме самой общей мысли, еще не оформленной, в такие первые вечера не оседает на записи, лишенной живых подробностей, и только естественность, с какой рождается эта идея из пережитых обстоятельств, бывает поразительна.

Дождь был первой подробностью наброска, остановившей Сережу. Он перенес ее с осьмушки на бумагу четвертного формата и принялся марать и перемарывать, добиваясь желанной наглядности. Местами он выводил слова, которых нет в языке. Он оставлял их временно на бумаге, с тем, чтобы потом они навели его на более непосредственные протоки дождевой воды в разговорную речь, образовавшуюся от общенья восторга с обиходом. Он верил, что эти промоины, признанные и всем понятные, придут ему на память, и их предвосхищенье застилало ему зренье слезами, точно оптическими стеклами не по мерке.

Если бы он не сидел, как всякий пишущий, несколько боком, к столу, обратив спину к обоим доступам в комнату, или на минуту повернул голову вправо, он бы до смерти напугался. В дверях стояла Анна. Она исчезла не мгновенно. Отступив на шаг, на два от порога, она простояла на виду и в близком соседстве ровно столько, сколько ей казалось надобным, чтобы не дать лишку ни в вере, ни в суеверьи. Ей не хотелось тягаться с судьбой ни намеренной мешкотностью, ни слепой поспешностью. Она была одета, как на прогулку. В руках у ней был туго свернутый зонт, потому что за истекший промежуток она не порвала связи с миром, и в комнате у нее было окно. К тому же, как спускаться к Сереже, она благоразумно взглянула на барометр, стоявший

на урагане. Выросши, подобно облаку, за Сережиной спиной, она, хотя и во всем черном, белела и дымилась в закатной полосе нестерпимой крепости, которая била из-под сизо-лиловой грозовой тучи, наседавшей на сады переулка. Потоки света растворяли Анну вместе с паркетом, который едко клубился под ней, как что-то парообразное. По двум-трем движеньям, произведенным Сережей, Анна, как в игре в короли, разгадала и его беду и ее пожизненную неисправимость. Уловив, как двинул он подушкой кулака по глазу, она отвернулась, подобрала юбку и, пригибаясь на ходу, в несколько сильных и широких шагов вышла на цыпочках из классной. Попав в коридор, она пошла по нему немного поспешнее и опустила юбку, и то с тем же покусываньем губ и так же бесшумно.

Отказывать ему не приходилось трудиться. Все произошло само собой. Ее окно уже во всю ширь было занято перемещеньями неба. По виду его лиловых нагромождений было ясно, что уже и до ближайшего угла сухой не добежать. Тем скорее надо было что-нибудь предпринять, чтобы только не оставаться одной с этой свежей и быстро нарывавшей тоскою. При одном допущеньи, что можно на всю ночь застрять у себя в одиночестве, она леденела от ужаса. Что же сталось бы с ней, если бы это еще и случилось? Пробежав двором в переулок, она невдалеке от дома наняла извозчика, стоявшего с уже поднятым верхом. Она поехала в Чернышевский переулок к знакомой англичанке, в надежде, что погода будет долгая и неистовая, так что ее нельзя будет отпустить домой, и знакомой волей-неволей придется приютить ее на ночь.

„...Итак, на даче начинается дождь. Вот что совершается перед окнами. Старые березы целыми стаями отпускают листья на волю и устраивают им проводы с пригорка. Тем временем свежие вороха, путаясь у них в волосах, взвиваются белесыми вихрями нового пореденья. Проводив их и потеряв из виду, березы поворачиваются к даче, наступает тьма, и, еще раньше чем раздается первый удар грома, внутри начинается игра на рояле.

Темой своей Игрек выбирает ночное небо в том виде, в каком оно выйдет из бани, в кашемировом пуху облаков, в купоросно-ладанном пару трепанной рощи, с сильным про-

ступом звезд, промытых до последних скважинок и будто ставших крупнее. Блеск этих капель, которым никак не расстаться с пространством, как бы они от него ни старались оторваться, им уже развешан над инструментальною чащей. Теперь, разбегаясь по клавиатуре, он бросает сделанное и возвращается к нему, предает его забвенью и наводит на память. Стекла плющатся потоками ртутного студня, перед окнами с охапками огромного воздуха ходят березы и всюду им сорят, осыпая косматые водопады, а музыка, знай, отвешивает поклоны направо и налево и все что-то с дороги обещает.

И замечательно, всякий раз, как кто-нибудь пробует усомниться в честности ее слова, играющий обдает маловера каким-то неожиданным, упорно возвращающимся чудом в звуках. Это чудо его собственного голоса, то есть чудо их завтрашнего способа чувствованья и запоминанья. Сила этого чуда такова, что она шутя могла бы раскроить таз фортепьяну, попутно сокрушив кости купечеству и венским стульям, а она рассыпается серебристою скороговоркой и звучит тем тише, чем чаще и шибче возвращается.

Так же точно он и читает. Он выражается так: я прочту вам столько-то полос белого стиха, столько-то колонок рифмованного. И опять, всякий раз, как кому-нибудь кажется, будто этому ковровому вранью безразлично, лечь ли теменем или пятками в полюс, появляются описанья и уподобленья невиданной магниточувствительности. Это—образы, то есть чудеса в слове, то есть примеры полного и стрелоподобного подчиненья земле. И значит, это—направленья, по которым пойдет их завтрашняя нравственность, их устремленность к правде.

Но как странно, видимо, переживал все этот человек. Точно кто попеременно то показывал ему землю, то прятал ее в рукав, и живую красоту он понял как предельное отличье существованья от несуществованья. В том-то и новизна его, что эту разницу, мыслимую не долее мгновенья, он удержал и возвел в постоянный поэтический признак. Но где он мог видеть эти явленья и исчезновенья? Не голос ли человечества рассказал ему о мелькающей в смене поколений земле?

Все это сплошь и без изъятий—непреложное искусство,

все оно говорит о бесконечностях по нашепту границ, все рождается из богатейшей, бездонно-задушевной земной бедности. Он перемежает игрою чтенье, он слышит шелест французских фраз, его обдают духами. Его вполголоса просят забыть обо всем и только продолжать исполняемое, и не прекращать его,—и все это не то.

И вот он поднимается и говорит, что их любовь до него доходит, но что они полюбили его недостаточно. А то бы они вспомнили, что они на аукционе, и для чего он их собрал. Он говорит, что не может им открыть своих планов, а то они опять вмешаются, как бывало уже столько раз, и предложат другой выход и другую помощь, и даже, может статься, более щедрую, но обязательно неполную, и не ту, которую ему подсказало сердце. Что в той крупной купюре, в какой выпущен человек, ему нет приложенья. Что ему надо разменять себя, и они должны ему в этом помочь. И пускай его затея кажется им гибельной причудою. Все равно, он либо слышен им весь, либо нет. И если он им слышен, то пусть тогда и слепо ему подчинятся. Он возобновляет игру и чтенье, в перерывах трещат имена числительные, праздным рукам и глотке приятеля подыскивается работа, и вот через минут двадцать безрассуднейшей лихорадки, в самый разгар глицериновой хрипоты, на последнем гребне беспримерной испарины он достается наизадушевнейшему из искателей, человеку строжайших правил и прославленному благотворителю. И не сразу, не в этот вечер отпускает его тот на свободу...“

V

Разумеется, это не подлинник Сережиной записи. Но он и сам не довел ее до конца. В голове у него осталось много такого, что не попало на бумагу. Он как раз обдумывал сцену городских беспорядков, когда в комнату, ведя за руку упиравшегося Гарри, видно стыдившегося предстоявшего скандала, вломилась Маргарита Оттоновна, насквозь мокрая и разъяренная.

По Сережиной мысли предполагалось, что у благотворителя с подневольным на третий, скажем, день сделки произойдет разговор большой значительности и проникновенности. Было задумано, что, поселив Игрека отдельно и истомив его

роскошью ухода, а себя—заботами, богач не вынесет тоски и зайдет к нему в пристройку с просьбою, чтобы тот шел на все четыре стороны, потому что ему никак не придумать, как им воспользоваться подостойнее. А Игрек откажется. И вот в ночь этого разговора им должны будут принести в деревню весть о происшедших в городе беспорядках, начавшихся с буйств в околотке, куда Игрек подбросил свои миллионы. Обоих эта новость обескуражит, Игрека же в особенности тем, что в буйствах, далеко прогремевших, он усмотрит поворот к прежнему, а он надеялся на обновленье никому не ведомое, то есть на полное и бесповоротное. И тогда он уйдет...

— Нет, это неслыханно, я зонтик чуть не сломала. Je l'admets à l'égard des domestiques, mais qu'en ai-je à penser si...[1] Но, боже, что с вами? Вы нездоровы? А я-то хороша. Постойте минуту, сейчас. Гарри, моментально, моментально в постель! Разотрете его водкой, Варя, а поговорим завтра, нечего носом сопеть, надо вперед было думать. Ступай, Гарюша. Пятки, пятки главное, а грудь скипидаром. Завтра всем ласка найдется: и вам, и Лаврентию Никитичу, а с миссис первый ответ.

— А что она сделала?

— Наконец-то. Я при них не хотела. Я сразу ничего не заметила, не сердитесь. У вас неприятности? Что-нибудь в семье?

— Все-таки, виноват, чем вам не угодила миссис?

— Какая миссис? Ничего не понимаю. Как вы покраснели! Ага, так вот оно что. Так, так. Ну, хорошо. Да, так значит — о моей камеристке. Ее нет с утра. Она ушла со двора вместе с остальной прислугой. Но те хоть к вечеру одумались...

— А миссис Арильд?

— Но это неприлично. Почем я знаю, где ночует миссис Арильд? Suis-je sa confidente?[2] Я вот зачем у вас задержалась, добрейший Сергей Осипович. Я попрошу вас, голубчик, завтра с утра присмотреть за Гарри, чтобы он собрал свои игры и учебники. Пускай сам, как сумеет, их уложит. Разумеется, вы все это потом переделаете, и виду не

---

[1] Я это допускаю в отношении прислуги, но что думать, когда...
[2] Разве я поверенная ее тайн?

подавая, что это входило в ваши планы. Я чувствую, вы хотите спросить о белье и об остальных вещах? Все это поручено Варе и вас не касается. Я считаю, что, где только можно, детей надо держать в иллюзии некоторой самостоятельности. Тут и видимость вырабатывает благотворную привычку. Затем я желала бы, чтобы в будущем вы уделяли ему больше внимания, чем это делалось до сих пор. На вашем месте, я бы опускала абажур чуть пониже. Позвольте, ну, вот хоть так, что ли. Не правда ли, так лучше, как по-вашему? Но я боюсь простудиться. Мы едем послезавтра. Спокойной ночи!

Однажды, в начале знакомства, Сережа разговорился с Арильд о Москве и стал поверять ее познанья. Кроме Кремля, осмотренного ею в достаточности, она назвала ему несколько частей, в которых проживали ее знакомые. Как теперь оказалось, из перечисленных названий он удержал в памяти только два—Садовую-Кудринскую и Чернышевский переулок. Откидывая позабытые направленья, точно и Аннин выбор был ограничен его памятливостью, он теперь готов был поручиться, что Анна проводит ночь на Садовой. Он был в этом уверен, потому что тогда ему был прямой зарез. Отыскать ее в такой час на большой улице, без слабого представленья о том, где и у кого искать, не было возможности. Другое дело—Чернышевский, где ее наверняка не могло быть по всему поведенью его тоски, которая, подобно собаке, бежала впереди его по тротуару и, вырываясь из рук, его за собой тащила. В Чернышевском он нашел бы ее обязательно, если бы только было мыслимо, чтобы живая Анна своей управою и сама была в том месте, куда ее еще только хотелось (и как хотелось!) поместить. Уверенный в неуспехе, он бежал взглянуть своими глазами на несужденную возможность, потому что был в том состоянии, когда сердце готово лучше глодать черствейшую безнадежность, только бы не оставаться без дела.

Было полное уже утро, мутное и холодное. Ночной дождь только прошел. Что ни шаг, над серым, до черноты отсыревшим гранитом загоралось сверканье серебристых тополей. Темное небо было, как молоком, окроплено их беловатой листвой. Их обитые листья испещряли мостовую грязными клочками рваных расписок. Чудилось, будто гроза, уйдя, возло-

жила на эти деревья разбор последствий, и все утро, путанное и полное неожиданностей,—в их седой и свежей руке.

По воскресеньям Анна ходила к обедне в англиканскую церковь. Сереже помнилось с ее слов, что тут где-то поблизости должна жительствовать одна из ее знакомых. И потому со своими заботами он расположился как раз против кирки.

Он бросал пустые взгляды в открытые окна спавшего пастората, и сердце глотательными движениями подхватывало куски картины, жадно уписывая сырой кирпич флигелей вместе с мокрою зеленью деревьев. Его тревожные взоры кромсали также и воздух, который поступал всухомятку неведомо куда, минуя легкие.

Чтобы часом не навлечь чьих-нибудь подозрений, Сережа временами беспечно прогуливался по всему переулку. Только два звука нарушали его сонную тишину: Сережины шаги и шум какого-то двигателя, работавшего неподалеку. Это была ротационная машина в типографии „Русских ведомостей“. Нутро Сережи было все в кровоподтеках, он задыхался от богатства, которое должен был и еле был в силах вместить.

Силой, расширявшей до беспредельности его ощущенье, была совершенная буквальность страсти, то есть то ее качество, благодаря которому язык кишит образами, метафорами и еще более того—загадочными образованьями, не поддающимися разъяснению. Разумеется, весь переулок в его сплошной сумрачности был кругом и целиком Анною. Тут Сережа был не одинок, и знал это. И правда, с кем до него этого не бывало. Однако чувство было еще шире и точнее, и тут помощь друзей и предшественников кончалась. Он видел, как больно и трудно Анне быть городским утром, то есть во что обходится ей сверхчеловеческое достоинство природы. Она молча красовалась в его присутствии и не звала его на помощь. И, помирая с тоски по настоящей Арильд, то есть по всему этому великолепью в его кратчайшем и драгоценнейшем извлеченьи, он смотрел, как, обложенная тополями, точно ледяными полотенцами, она засасывается облаками и медленно закидывает назад свои кирпичные готические башни. Этот кирпич багрового нерусского обжига казался привозным, и почему-то—из Шотландии.

Из ночной редакции вышел человек в пальто и мягкой шляпе. Он, не оглядываясь, пошел по направлению к Никитской. Чтобы не вызывать в нем подозрений, если бы он оглянулся, Сережа перешел с газетного тротуара на шотландский и зашагал в сторону Тверской. В двадцати шагах от церкви он увидел Арильд в светелке противоположного дома. В эту минуту она подошла изнутри к окошку. Когда они справились с неожиданностью, они заговорили вполголоса, как в присутствии спящих. Это делалось ради Анниной приятельницы. Сережа стоял на середке мостовой. Было похоже, будто они говорят шопотом, чтобы не разбудить столицы.

— Я давно слышу,—сказала Анна,—все кто-то ходит, не спит. А вдруг, думаю, это он! Отчего вы не подошли сразу?

Вагонный коридор швыряло из стороны в сторону. Он казался бесконечным. За шеренгой лакированных, плотно задвинутых дверей спали пассажиры. Мягкие рессоры глушили вагон. Он походил на великолепно взбитую чугунную перину.

Всего приятнее колыхались края пуховика, и, чем-то напоминая катанье яиц на пасху, по коридору, в сапогах и шароварах, в круглой шапке и со свистком на ремешке, катился толстый обер-кондуктор. Ему было жарко в зимней обмундировке, и в ее облегченье он поправлял на ходу строгое пенснэ. Оно поражало своей мелкотой среди крупных капель пота, слезивших сплошь его лицо, точно свежий срез мещерского сыра. В вагоне другого какого-нибудь класса, заметив Сережину позу, он бы обязательно взял пассажира за талию или другим каким-нибудь манером вывел бы из самозабвенья. Сережа дремал, положив локти на борт опущенного окошка. Он дремал и просыпался, зевал, восхищался видами и тер глаза. Он высовывался из окна и горланил мотивы, которые в свое время игрывала Арильд, и никто не слышал, как он их орал. Когда поезд с закруглений выходил на прямую, коридором завладевал стройный, неподвижный сквозняк. Всласть набегавшись и нагоготавшись, дикие двери тамбуров и уборных вытягивали крылья, и под гул возраставшей скорости было удивительно чувствовать, что ты не то чтобы на тяге, а попросту сам в числе тянущей птицы, с бравурой Шумана в душе.

Из купэ его выгнала не одна жара. Ему было неловко в обществе Фрестельнов. Потребна была неделя-другая, чтобы нарушившиеся отношенья пришли в старый порядок. В их ухудшении он меньше всего винил Маргариту Оттоновну. Он признавал, что если бы даже он был ей приемным сыном, а спуск и потворство ему во всем—главной ее обязанностью, то и в таком случае ей было отчего притти в отчаянье в недавней предотъездной суматохе.

После свежего ночного выговора он изволил пропасть на весь канун отъезда, когда заведомо знал, какой содом подымается в хозяйстве с самых спозаранок.

— Шторы,—неожиданно взвизгивал кто-нибудь, и из кусков рогожи чудесно складывался, совершенно как живой, Егор,—шторы, вот наказанье!

— Чего—шторы?

— Чаво—шторы, рыло! Так им, по-твоему, и висеть?

— А что им сделается?

— А ты их выколачивал?

— Лаврентий, чтоб тебя намочило, отстань, дьявол!

— Варя, дорогая, вы, знаете ли, не на гуляньи.

„...Но в конце концов чорт с ней. Арильд, так Арильд. Жаль, конечно, беднягу: дрянь женщина и интриганка, но что поделаешь, раз нашла коса на камень. Однако тогда и разговор другой, если на то пошло, и все на свете можно делать почеловечески. Поезд с Брянского пять сорок пять, проводил—и баста. И так, чтобы дома ни одна душа по тебе не сказала, где ты был и что потерял. Напротив, всякий подумает: вот истинный мужчина, вот порядочный, уважающий себя человек. Но, видно, это отсталость, и теперь все по-другому. Запереться ему, видите ли, надо с проводов, и его не смущает, что все по часам будут наблюдать, как он там... осваивается и привыкает. Ну, что тут делать? Рассчитать его?..“

— Не замайте, барыня, вы не так, я сама подоткну, только вот—о, чтоб тебя, дьявол, гниль какая! Второй лопнул, я говорила,—веревкой.

„...Но как его рассчитаешь, когда кругом такая горячка и совершенно ясно из происшедшего, что теперь ему заработок не в забаву. Но позвольте, позвольте, тогда и должность не баловство, и ею надо дорожить. В извиненье ему

можно сказать, что существует новое декадентское выраженье „переживать“. Однако и переживать, то есть выставлять свои секреты для внешнего обозренья, вероятно, можно по-человечески, между тем как на другое утро это совершенно неузнаваемый, ни на что не пригодный человек, Христос Христом, сама пассивность: предложи всерьез,—головой будет ящики заколачивать; а увы, никак не это требуется в хозяйстве, и не с такою целью держат воспитателя в порядочной семье... И вот они едут, и он с ними. Зачем же он с ними? А как его рассчитать? Между прочим в Туле они опоздали к пассажирскому, с которым был согласован московский поезд, и в окно вагона с ужасом увидели, как побежал он вбок от них по встречному калужскому направлению. Эта ночь была ужасна... Зато их вознаградили за десятичасовую муку. С час тому назад мимо Тулы по Сызрано-Вяземской железной дороге прошел этот дальний, и они в нем разместились с комфортом, которого не могла дать ночная пересадка. Антон Карлович и Гарри спят, хотя через двадцать минут их придется поднять, бедняжек“.

Обер-кондуктору был вагон по душе, и он то-и-дело в него наведывался. Виды же поистине попадались изумительные. Вот хотя бы в настоящую минуту, когда, застыв на всем разносе, грязный и громкий поезд плыл и как бы покоился на широко заведенной дуге из крутого и жаркого песку, а против насыпи, далеко за поймами, на чуть вздрагивавшем пригорке плыла и как бы покоилась большая кудрявая усадьба. Когда б не пятнадцать верст предстоящего пути, можно было бы подумать, что это Рухлово: так походили на все слышанное белые проблески барского дома и ограда парка, помятая неровностями косогора, на который она как бы была целиком положена, как снятое с шеи ожерелье. В парке было много серебристых тополей. „Дорогие!“—прошептал Сережа и, зажмурившись, подставил волосы под прыжки встречного ветра.

Итак, вот для какой надобности существует у людей слово „счастье“. Хотя и это были одни беседы и он только делил ее хлопоты и снаряжал в дорогу... Хотя и у них будет другая, полная близость... Но ближе, чем в эти незабвенные десять часов, им больше никогда не стать. Все на свете понято,

больше нечего понимать. Остается жить, то есть рассекать руками пониманье и пропадать в нем; остается нравиться ему, как оно нравится им, раскинутое кругом, с железными дорогами, проведенными по его лицу и срокам. Какое счастье!

Но какая случайность, что она заговорила о родне! Как легко могло этого не случиться. Мерзавцы, много они понимают, что роняет, что возвышает род. Но о ее несчастном отце как-нибудь в другой раз (поразительный случай!). Теперь понятно, откуда у ней такие знанья, так что она кажется старше себя вдвое и вдесятеро холостее. Все это у нее по наследственности. Вот почему она так спокойно всем этим владеет. Еще бы она стала себе удивляться и добиваться за свои дары шумного имени. Оно и так у нее было в девичестве и— прегромкое.

Ее предки были выходцами из Шотландии. За этими подробностями была упомянута Мария Стюарт. И теперь невозможно было отделаться от чувства, будто этого-то имени и недоставало все утро облачному Чернышевскому переулку.

Но вот строгий обер-кондуктор тронул оглохшего путешественника за талию и предупредил, что ему и его соседям по купэ слезать на следующей остановке.

Так передвигались люди тем последним по счету летом, когда еще жизнь по видимости обращалась к отдельным, и любить что бы то ни было на свете было легче и свойственнее, чем ненавидеть.

Сережа потянулся, заворочался и пошел зевать без отступу, раз от разу все неистовей. Вдруг это прекратилось. Он проворно приподнялся на локте и с трезвой быстротой осмотрелся кругом. На полу пролитою лужей стоял отсвет дворового фонаря. „Зима,—сразу сообразил он,—и это первый сон у Наташи в Усольи“. Никто, по счастью, не подсмотрел его полуживотного пробужденья. И—ах!—да ведь вот что, как бы не забыть. Ему снилось нечто бесформенное, и такое, что и сейчас еще голову ломит. Всего замечательнее, что у этой чепухи было прозвище, пока он ее видел. Это—Лемох, но поди доищись в этом смысла. Одно, несомненно: надо встать, и аппетит у него волчий, если только он не проспал гостей.

Через минуту он уже тонул в байковых, отдававших иодо-

формом зятниных объятиях. У того в кулаке осталась подковырка для вскрыванья консервов, и он бросился к Сереже с рукой, отведенной наотлет. Это, вместе с торчавшей из кармана слуховой трубкой, несколько испортило сладость лобзаний, как материализовавшаяся наощупь искренность. И раскупорка консервов не могла возобновиться с прежним совершенством и захромала. Поперек коробок посыпались расспросы, отрывистые и делано-простецкие. Сережа стоял, радовался и недоумевал, зачем дурака ломать, когда можно им быть по-природному, не стараясь. Они не любили друг друга.

На столе чистым строем стояли бодрые, вполне выспавшиеся водочные рюмки. И сложный ассортимент духовых и ударных закусок радовал глаз. Над ними по-капельмейстерски высились черные винные бутылки и каждую минуту готовы были грянуть и отмахать оглушительное вступленье ко всяческим хохотам и каламбурам. Зрелище было тем внушительнее, что по всей России продажа вина была запрещена, завод же, как видно, жил автономною республикою.

Было уже поздно, и детей обещали показать в кроватках.

Вообще вся комната точно плавала в коньяке. От освещенья ли это или от подбора мебели, но казалось, будто и полы натерты не воском, а канифолью, и нога, скользя, нащупывала под собой не завощенные расщеплины, а склеившийся и как бы нафабренный волос. Жаркой желтизною обстановки („Карельская береза, ты что думаешь?"—зачем-то соврал Калязин) было, как лимонною настойкою, налито все, что обладало гранями и было способно играть. Сережа обладал этими способностями. По его расчетам, пронзительно освещенный дом должен был казаться медвежьей сине-белой ночи чем-то вроде крошечной, полной угольков канфорки, вздутой среди сугробов.

— Ага, подморозило! Очень рад,—сказал он, став за полу гардины и вглядываясь во мрак.

— М-да, скрепило,—рассеянно промычал зять, протирая платком заянтаренные соусами пальцы.

— А то у меня сапог нет; я не привез, не догадался купить.

— Дело поправимое, здесь заведешь. Но о чем мы, поми-

луй, тут, моносказать, человек из самого, моносказать... Нельма, сибирская рыба. И максун. Слыхал ли ты, брат, про таких? Нет? Ну вот я и сам знал, что не слыхал.

Сереже становилось все веселее, и неизвестно, какой бы выходкой это у него кончилось. В это время из коридора прикатился смутный, смешанный топот ног. Там раздевались. Скоро в столовую, и все с воздуха, румяные, вошли: Наташа, незнакомая Сереже девушка и сухой, определенный и очень быстрый человек, к которому Сережа и бросился вперед Калязина и поздоровался крупно, радостно и почти испуганно. Вся веселость с него слетела. Во-первых, он знал этого человека, и, кроме того, перед ним стояло нечто высокое, чуждое и всего Сережу с головы до ног обесценивавшее. Это был мужской дух факта, самый скромный и самый страшный из духов.

— Брат ваш как?..—смущенно начал Сережа и запнулся.

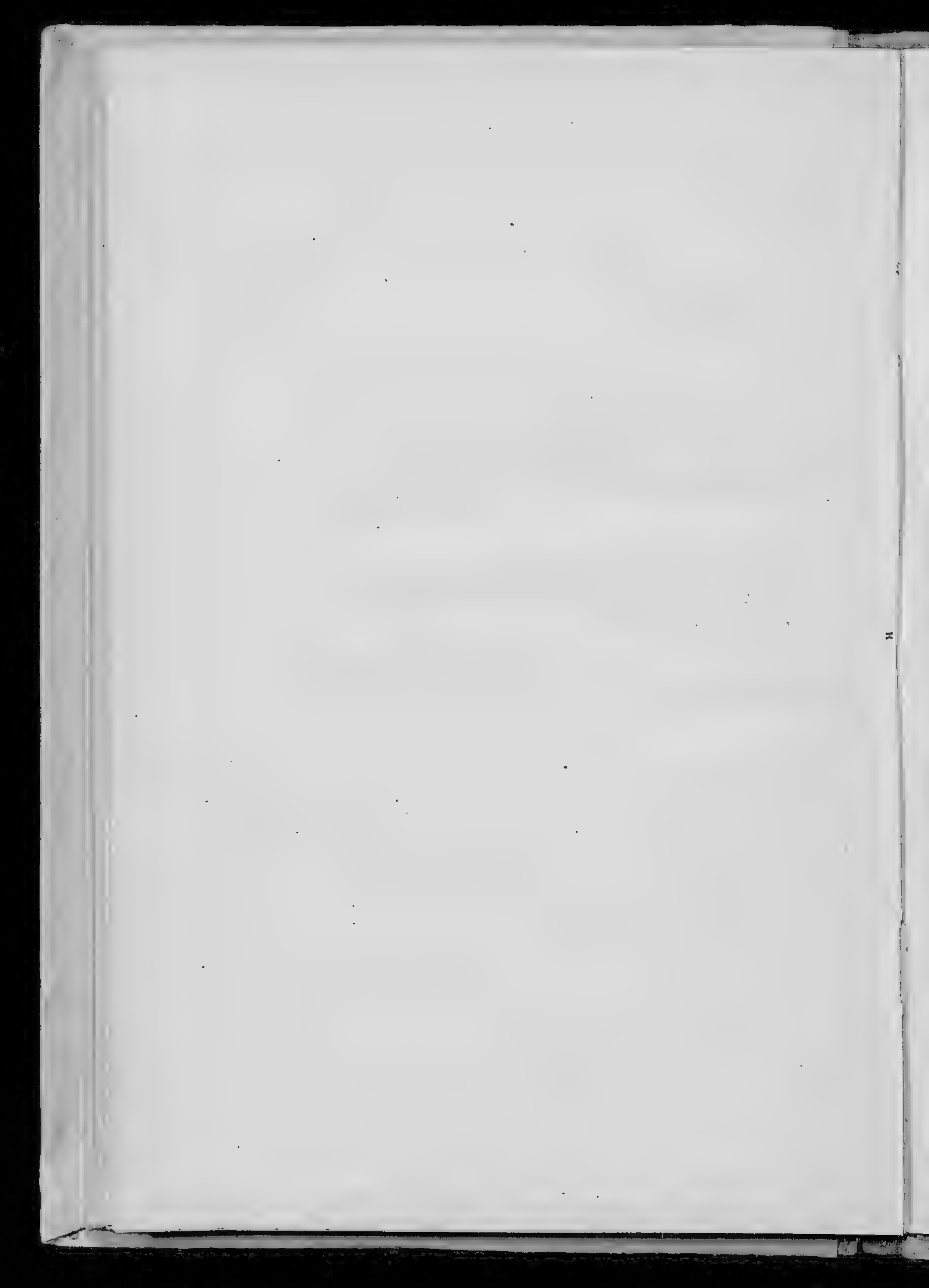
— Жив пока,—отвечал Лемох,—ранен в ногу; у меня на поправке. Я, верно, его у себя устрою. Рад встрече. Здравствуйте, Павел Павлович.

— Представьте себе,—еще растеряннее замямлил Сережа,—может, он это скрывал по долгу службы, но никто не знал что это мобилизация. Все думали—маневры. Виноват, я не знаю, как называются эти учебные передвиженья. Во всяком случае думали, что это что-то примерное. А это их уже гнали на войну. Словом, позапрошлым летом в июле я с ним виделся. И оцените. Их часть шла на баржах мимо нас, они пристали на ночлег как раз близ именья, где я тогда служил воспитателем. Это было за два дня до объявления войны. Мы только потом это раскусили. Вы поняли?

— Да, я знаю про ваш разговор, брат рассказывал.

И Сережа только не сознался, что и в ту ночную встречу постеснялся спросить у вольноопределяющегося, как его фамилия.

СОДЕРЖАНИЕ



Редактор Г. К. Булгаков. Технический редактор С. Симонов. Художник А. Радищев. Огиз № 12. Х-11в. Тираж 5 000. Уполн. Главлита Б- 9564. Зак. № 6478. Формат бумаги 82×110 1/32. Бум. листов 3 1/8, по 139776 зн. Сдана 11/I 1933 г. Подп. к печ. 14/II 1933 г. (печат. с матр.).

Ц. 2 р. 25 к. =30к.
Перепл. 75 к.